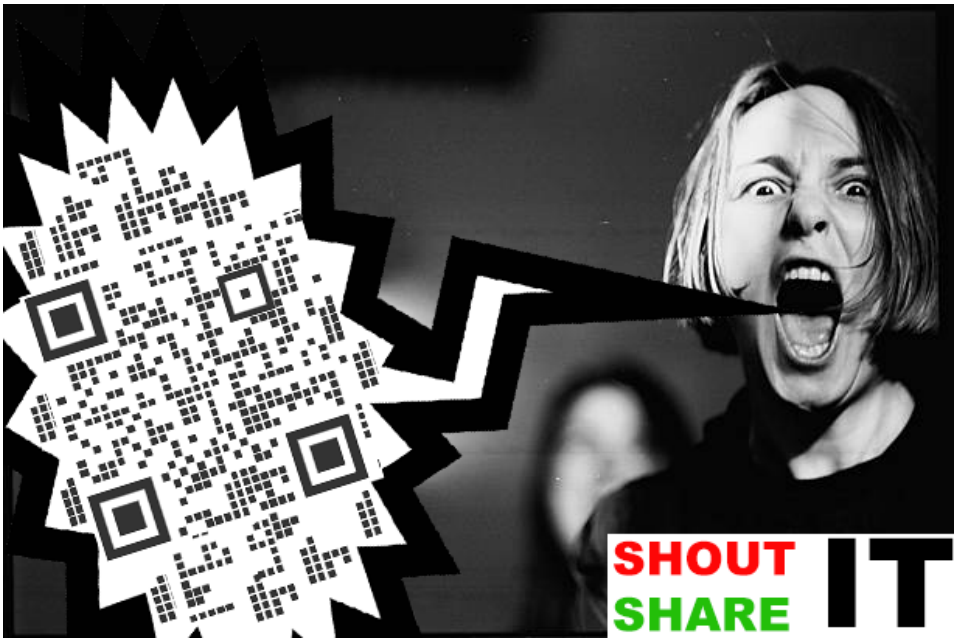
Ф. Ницше

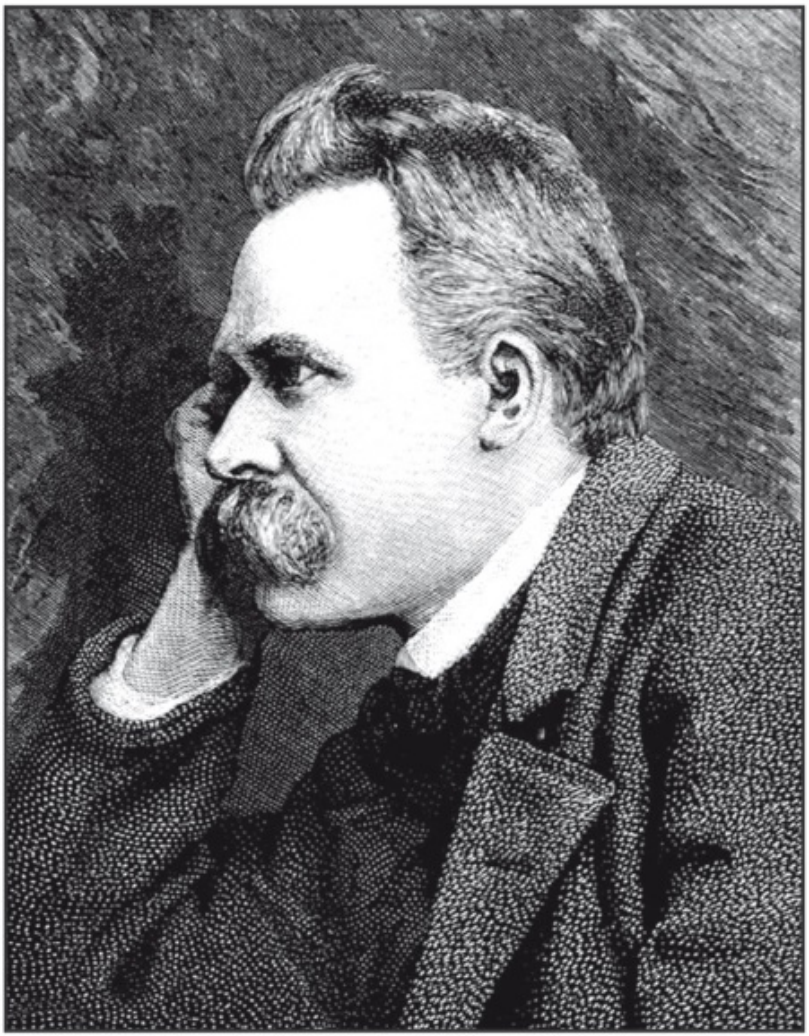
ШОПЕНГАУЭР КАК ВОСПИТАТЕЛЬ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Фридрих Вильгельм Ницше (1844–1900) – немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, создатель самобытного философского учения, которое носит подчеркнуто неакадемический характер. Будучи изложенными в афористической манере, большинство сочинений Ницше не поддаются однозначной интерпретации и вызывают много споров. «Шопенгауэр как воспитатель» (1874) – третье по счету в задуманной Ницше серии культуркритических эссе, объединенных общим названием «Несвоевременные размышления».

- Фридрих Вильгельм Ницше
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8



Фридрих Вильгельм Ницше
Шопенгауэр как воспитатель

1

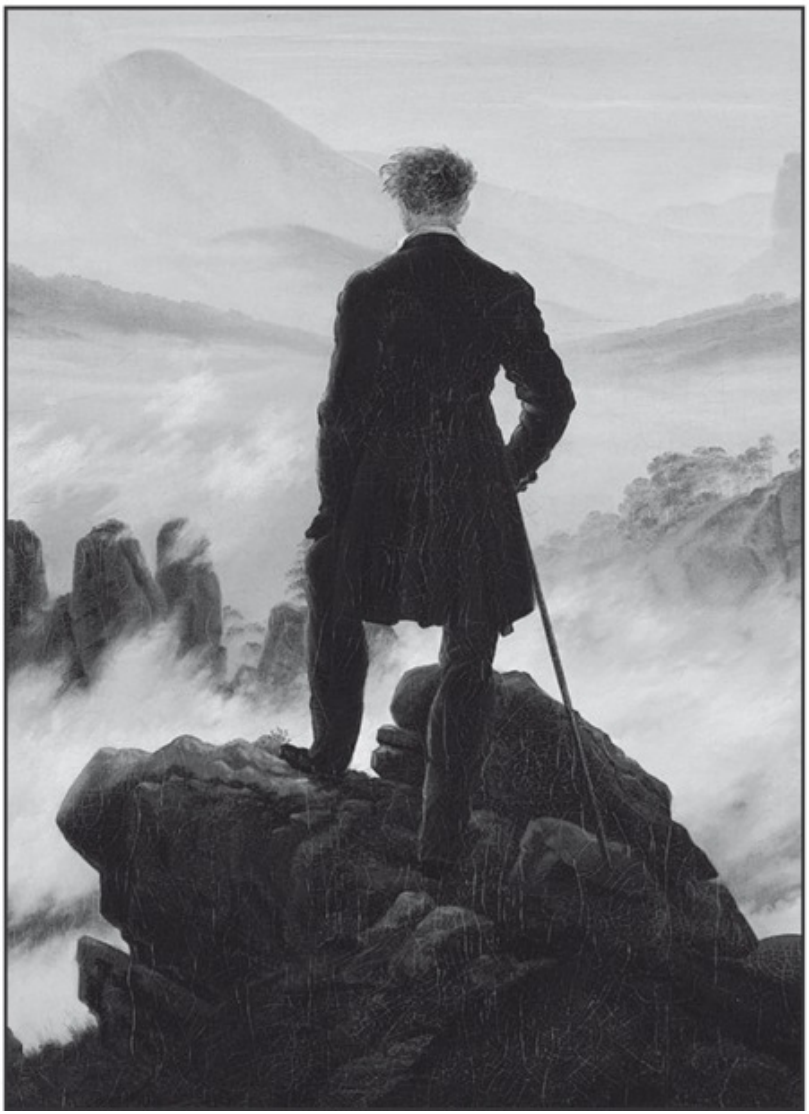
Некий путешественник, повидавший много стран и народов и несколько частей света, будучи спрошен, какое свойство людей он находил повсюду, сказал: все они склонны к лености. Иному может показаться, что было бы правильнее и точнее сказать: все они боязливы. Они прячутся за обычаи и мнения. В сущности, каждый человек хорошо знает, что он живет на свете только один раз, что он есть нечто единственное, и что даже редчайший случай не сольет уже вторично столь дивно-пестрое многообразие в то единство, которое составляет его личность; он это знает, но скрывает, как нечистую совесть, – почему? Из страха перед соседом, который требует условности и сам прячется за нее. Но что же заставляет отдельного человека бояться соседа, мыслить и поступать стадно и не наслаждаться самим собой? Немногих и редких людей, быть может, – стыдливость. Но для огромного большинства это – изнеженность, инертность, – словом, та склонность к лени, о которой говорил путешественник. Он прав: люди еще более ленивы, чем трусливы, и всего больше боятся именно трудностей, которые на них возложила бы безусловная честность и обнаженность. Одни лишь художники ненавидят это небрежное щеголяние в чужих манерах и надетых на себя мнениях и обнажают тайну, злую совесть каждого, – положение, что каждый человек есть однажды случающееся чудо; они осмеливаются показать нам человека, каков он есть, и он один, в каждом движении его мускулов; более того, что в этой строго последовательной своей единственности он прекрасен и достопримечателен, нов и невероятен, как всякое произведение природы, а отнюдь не скучен. Если великий мыслитель презирает людей, то он презирает их леность, ибо из-за нее они кажутся фабричным товаром, безразличными существами, недостойными общения и поучения. Человеку, который не хочет принадлежать к массе, достаточно только перестать быть инертным в отношении самого себя; пусть он следует голосу своей совести, который говорит ему: «Будь самим собою! Все, что ты теперь делаешь, думаешь и к чему стремишься, – это не ты сам».

Каждая юная душа слышит этот призыв днем и ночью и содрогается, ибо она чует предназначенную ей от века меру счастья, когда думает о своем подлинном освобождении, – того счастья, достигнуть которого никто не может ей помочь, пока она окована цепями предвзятых мнений и страха. И сколь безутешной и бессмысленной может стать жизнь без этого освобождения! Нет более пустынного и отвратительного создания в природе, чем

человек, который сошел с пути своего гения и косится направо и налево, назад и во все стороны. В сущности, такого человека не стоит даже трогать, ибо он есть одна оболочка без ядра, сгнившее, раскрашенное, надутое платье, разряженное привидение, которое не может внушить даже страха, а тем более сострадания. И если о ленивом справедливо говорят, что он убивает время, то относительно эпохи, которая ищет своего спасения в общественных мнениях, т. е. в частной лености, нужно серьезно позаботиться, чтобы такое время действительно было убито: я хочу сказать, чтобы оно было вычеркнуто из истории истинного освобождения жизни. Как велико будет, вероятно, отвращение позднейших поколений при изучении наследия того периода, в котором господствовали не живые люди, а общественно мнящие подобия людей! Поэтому, быть может, какому-нибудь отдаленному потомству наша эпоха будет казаться самым темным и неизвестным, ибо самым нечеловеческим отделом истории. Я иду по новым улицам наших городов и думаю, как через столетие ничего не останется от всех этих гнусных домов, построенных поколением, которое имело общественные мнения, и как тогда будут, конечно, опрокинуты также и мнения этих домостроителей. Напротив, как много надежд могут питать все те, кто не чувствует себя гражданами этого времени; ибо будь они таковыми, они также служили бы тому, чтобы убить свое время и погибнуть вместе с ним, – тогда как они хотят, наоборот, пробудить время к жизни, чтобы самим продолжать жить в этой жизни.

Но если бы даже у нас не оставалось никакой надежды на будущее – то наше странное существование именно в этом нынче побуждает нас сильнее всего жить по собственной мерке и собственному закону: та необъяснимость, что мы живем именно сегодня и все же имели бесконечное время для возникновения, что мы обладаем только отрезком сегодняшнего дня и должны в нем показать, почему и для чего мы возникли именно теперь. Мы должны дать самим себе отчет в нашем бытии; следовательно, мы хотим также стать подлинными кормчими этого бытия и не допустить, чтобы наше существование было равносильно бессмысленной случайности. В отношении жизни нужно допустить некоторое дерзновение и риск, тем более, что в худшем, как и в лучшем случае, мы все равно ее потеряем. Для чего быть привязанным к этому клочку земли, к этому ремеслу, для чего прислушиваться к тому, что говорит сосед? Какой провинциализм – подчиняться воззрениям, которые за несколько сот миль от нас уже не обязательны! Восток и запад суть лишь черты, которые кто-то проводит мелом перед нашими глазами,

чтобы обманно воспользоваться нашей боязливостью. Я хочу сделать попытку прийти к свободе, – говорит юная душа; и неужели этому должно помешать, что случайно две нации ненавидят одна другую и воюют между собой, или что между двумя частями света лежит море, или что всюду вокруг проповедуется религия, которая еще несколько тысячелетий тому назад совсем не существовала? Все это – не ты сам, – говорит себе юная душа. Никто не может построить тебе мост, по которому именно ты можешь перейти через жизненный поток, – никто, кроме тебя самого. Правда, есть бесчисленные тропинки и мосты, есть полубоги, которые хотят перенести тебя через поток; но только ценой тебя самого: ты должен был бы отдать себя в залог, потерять самого себя. В мире есть единственный путь, по которому никто не может идти, кроме тебя; куда ведет он? – не спрашивай – иди по нему! Кто это сказал: «Человек никогда не подымается выше, когда не знает, куда еще может его повести его путь»?



Но как мы обретаем себя снова? Как может человек знать себя? Он есть существо темное и сокровенное; и если у зайца есть семь кож, то человек может семижды семьдесят раз сдирать самого себя и все же не сможет сказать: «вот это – подлинно ты, это уже не оболочка». К тому же такое раскапывание самого себя и насильственное нисхождение в глубины своего существа по ближайшему пути есть мучительное и опасное начинание. Как легко человек может при этом так повредить себе, что уж никакой врач его не исцелит! И кроме того: к чему все это нужно, когда

все свидетельствует о нашем существе: наша дружба и наша вражда, наш взгляд и наше рукопожатие, наша память и все, о чем мы забываем, наши книги и черты нашего пера? Но самое лучшее средство допроса состоит в следующем. Пусть юная душа обратит свой взор на прошлую жизнь с вопросом: что ты подлинно любила доселе, что влекло твою душу, что владело ею и вместе давало ей счастье? Поставь перед собою ряд этих почитаемых предметов, и, быть может, своим существом и своею последовательностью они покажут тебе закон – основной закон твоего собственного я. Сравни эти предметы, посмотри, как каждый из них дополняет другой, расширяет, превосходит, просветляет его, как они образуют лестницу, по которой ты до сих пор карабкался к себе самому; ибо твоя истинная сущность лежит не глубоко скрытой в тебе, а неизмеримо высоко над тобою или, по крайней мере, над тем, что ты обычно принимаешь за свое я. Твои истинные воспитатели и руководители выдают тебе, что есть подлинный смысл и первичная основа твоего существа: нечто, не поддающееся никакому воспитанию и руководству, и во всяком случае нечто трудно открываемое, связанное, парализованное; твои воспитатели могут быть только твоими освободителями. И в этом – тайна всякого образования: оно не дает нам искусственных членов, восковых носов, вооруженных очками глаз; напротив, то, что способно было бы приносить такие дары, есть лишь карикатура на воспитание. Воспитание же есть освобождение, отметение всех сорных трав, мусора и червей, которые хотят прикоснуться к нежным зародышам растений, распространение света и тепла, любовное орошение ночным дождем; он есть подражание природе и поклонение ей, где она настроена матерински-милосердно; оно есть завершение природы, поскольку оно предупреждает ее жестокие и немилосердные приступы и обращает их ко благу и поскольку оно набрасывает покрывало на проявление злобы и печального неразумия природы-мачехи.

Конечно, есть и другие средства найти себя – прийти в себя из того оглушения, в котором обычно живешь, точно в темной туче; но я не знаю лучшего средства, чем оглянуться на своих воспитателей и руководителей. И я хочу помянуть сегодня одного наставника и дрессировщика, которым я могу похвалиться, – Артура Шопенгауэра, – чтобы позднее помянуть и других.

2

Для того, чтобы описать, каким событием был для меня первый взор, брошенный на произведения Шопенгауэра, я должен остановиться немного на одном представлении, которое в моей юности посещало меня столь часто и настойчиво, как вряд ли какое-либо другое. Когда я прежде предавался свободно мечтам и желаниям, то я надеялся, что судьба избавит меня от страшного усилия и обязательства воспитывать самого себя; что я вовремя найду, в качестве воспитателя, философа, настоящего философа, которому можно было бы подчиниться без дальнейших размышлений и доверять больше, чем самому себе. И тогда я спрашивал себя: каковы были бы те принципы, по которым он бы меня воспитывал? И я соображал, что он сказал бы о двух правилах воспитания, которые господствуют в наше время. Одно из них требует, чтобы наставник быстро распознал своеобразную способность своих воспитанников и затем направлял именно сюда все силы, соки и весь солнечный свет, чтобы содействовать правильному созреванию и плодотворности одной этой добродетели. Другое правило, напротив, требует, чтобы воспитатель использовал все наличные силы, взращивал их и приводил в гармоническое соотношение между собой. Но нужно ли поэтому принуждать, например, к музыке того, кто имеет решительное влечение к ювелирному искусству? Нужно ли признать правым отца Бенвенуто Челлини, который постоянно принуждал своего сына к «милому рожку», т. е. к тому, что сын называл «проклятой дудкой?» В отношении столь сильных и ясно выраженных дарований это, вероятно, будет признано неправильным; и, таким образом, принцип гармонического развития, быть может, применим только к более слабым натурам, которые, правда, содержат целое гнездо потребностей и склонностей, не имеющих, однако, – все в совокупности и каждая в отдельности, – особенно большого значения? Но где вообще мы находим гармоническую целостность и многоголосную созвучность в одной натуре, где такая гармония поражает нас более, чем именно в людях, подобных Челлини, в которых все – познание и вожделение, любовь и ненависть – стремится к одному средоточию, к одной коренной силе и в которых именно принудительный и властный перевес этого живого центра создает гармоническую систему разносторонних движений? Итак, быть может, оба эти принципа не противоречат один другому? Быть может, один из них утверждает лишь, что человек должен иметь центр, а другой – что он должен иметь также и периферию? Тот

философ-воспитатель, о котором я мечтал, вероятно, не только нашел бы центральную силу, но сумел бы также предупредить ее разрушительное влияние на другие силы; например, задача его воспитания, как мне казалось, сводилась бы к тому, чтобы преобразовать всего человека в живую и подвижную солнечно-планетную систему и открыть закон ее высшей механики.

Однако такого философа у меня не было, и я пытал себя в разных направлениях; я увидел, насколько жалкими представляемся мы, современные люди, по сравнению с греками и римлянами, даже в отношении серьезного и строгого понимания задач воспитания. С такой потребностью в сердце можно проблуждать по всей Германии, и в особенности по всем университетам, и не найти того, чего ищешь: ведь даже гораздо более низкие и простые желания остаются здесь неудовлетворенными. Если бы, например, кто-нибудь из немцев захотел получить серьезное ораторское образование или пройти школу писателя, то он нигде не нашел бы руководителя и школы; у нас, по-видимому, никто даже не думал, что речь и письмо суть искусства, которые не могут быть приобретены без заботливого руководства и усерднейшего обучения. Ничто, однако, не обнаруживает высокомерного самодовольства наших современников так отчетливо и вместе с тем так постыдно, как частью скряжеская, частью безмысленная скудость тех запросов, которые они предъявляют к воспитателям и учителям. Каким ничтожеством удовлетворяются даже наши наиболее знатные и наиболее осведомленные люди под названием домашних учителей; какая кунсткамера бестолковых голов и устарелых учреждений получает одобрение под высоким названием гимназий; что только ни удовлетворяет нас в качестве высшего образовательного учреждения – университета – какие вожди и какие организации, по сравнению с трудностью задачи воспитывать человека в человеке. Даже столь превозносимый способ отношения немецких ученых к своей науке показывает прежде всего, что они думают при этом больше о науке, чем о человечности, что их учат, как потерянный отряд, жертвовать собою, чтобы привлекать новые поколения к тому же жертвоприношению. Общение с наукою, когда оно не руководится и не ограничивается никаким высшим правилом воспитания, а только все более разнуздывается, на основании принципа «чем больше, тем лучше», несомненно столь же вредно для ученых, как и экономический принцип *laisser faire* – для нравственности целых народов. Кто еще знает, что воспитать ученого, не пожертвовав его человечностью и не иссушив ее, есть в высшей степени трудная проблема? И все же эту трудность можно видеть воочию,

если обратить внимание на многочисленные экземпляры, которые, бессмысленно и слишком рано отдав себя науке, выросли кривыми и однобокими. Но существует еще более важный признак отсутствия всякого высшего воспитания – более важный, более опасный и прежде всего более всеобщий. Если непосредственно ясно, почему теперь нельзя воспитать оратора или писателя, – именно потому, что для них нет воспитателей; если почти столь же ясно, почему ученый должен выходить теперь искаженным и односторонним, – потому что его воспитывает наука, т. е. нечеловеческая абстракция, – то спросить себя наконец: где, собственно, мы найдем для нас всех, ученых и неученых, знатных и простых, наши нравственные образцы и знаменитости среди наших современников, – видимое воплощение всей творческой морали нашего времени? Куда, собственно, делось всякое размышление о нравственных вопросах, которое ведь во все времена занимало каждое благородное общество? Таких знаменитостей более нет, и нет такого рода размышления; фактически мы живем унаследованным капиталом нравственности, который накопили наши предки и который мы умеем не умножать, а только расточать; о таких вещах в нашем обществе или вообще не говорят, или говорят с такой первобытной неумелостью и неопытностью, которая не может не вызывать негодования. Этим и объясняется, что наши школы и наставники просто игнорируют нравственное воспитание или ограничиваются формальностями; и добродетель есть слово, при котором учитель и ученик не мыслят уже ничего – старомодное слово, при котором улыбаются, и худо, если не улыбаются, – ибо тогда лицемерят.

Найти объяснение этой дряблости и низкого уровня всех духовных сил трудно и сложно; но кто учтет влияние побеждающего христианства на нравственность нашего старого мира, тот не упустит из виду также и обратного влияния современного христианства, т. е. его все более вероятной судьбы в наше время. Христианство настолько превзошло высотой своего идеала античные моральные системы и повсеместно господствующую в них естественность, что у нас притупилось чувство к этой естественности и по-явилось отвращение к ней; затем, однако, когда лучшее и высшее хотя и было еще известно, но уже перестало быть достижимым, мы уже не могли вернуться, несмотря на все желание, к хорошему и высокому, т. е. к античной добродетели. В этом шатании между христианским и античным началами, между оробевшей или лживой нравственностью и столь же трусливым и несвободным стремлением к античности живет современный человек и

чувствует себя при этом плохо; унаследованная боязнь естественного и, с другой стороны, возродившаяся привлекательность этой естественности, жажда найти где-нибудь опору, бессилие сознания, которое постоянно колеблется между хорошим и лучшим, – все это создает беспокойство и смутность в современной душе, осуждающее ее на бесплодное и безра-достное бытие. Никогда нравственные воспитатели не были так нужны, как теперь, и никогда не было так маловероятно найти их; в эпохи, когда врачи нужнее всего, – при больших эпидемиях – они сами всегда подвергаются наибольшей опасности. Ибо где же врачи современного человечества, которые сами стояли бы так прочно и здорово на своих ногах, чтобы быть в состоянии еще поддерживать и вести других? На лучших личностях нашего времени лежит какая-то темнота и придавленность, вечное недовольство борьбой между лицемерием и честностью, которая разыгрывается в их груди, беспокойное недоверие к самим себе, – и все это делает их совершенно неспособными быть вожаками и воспитателями других.

Итак, я предавался действительно фантастическим надеждам, когда мечтал найти, в качестве воспитателя, истинного философа, который освободил бы меня от несовершенства моего времени и снова научил быть простым и честным в мышлении и жизни, т. е. быть несвоевременным в глубочайшем смысле этого слова; ибо люди стали теперь столь многосторонними и сложными, что они должны становиться нечестными, если хотят вообще говорить, утверждать что-либо и поступать согласно своим утверждениям.

Одержимый такими нуждами, потребностями и желаниями, я познакомился с Шопенгауэром.

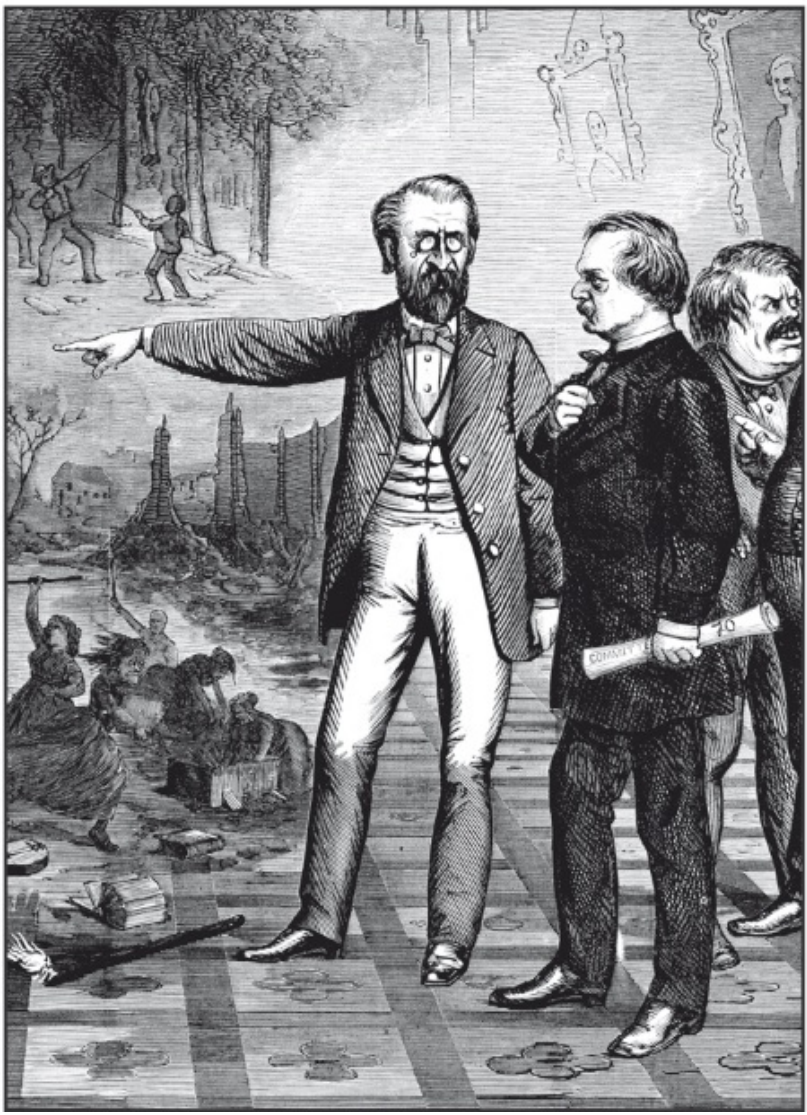
Я принадлежу к тем читателям Шопенгауэра, которые, прочитав одну его страницу, вполне уверены, что они прочитают все, написанное им, и будут слушать каждое сказанное им слово. У меня сразу явилось доверие к нему, и это доверие теперь таково же, каким было девять лет тому назад. Выражаясь нескромно и нелепо, но вразумительно, я скажу: я понял его, как будто он писал для меня. Поэтому я не нашел в нем ни одного парадокса, хотя кое-где находил мелкие ошибки; ибо что такое парадоксы, как не утверждения, не внушающие доверия, потому что сам автор создал их без надлежащего доверия, – потому что он хотел в них блистать, соблазнять и вообще казаться чем-нибудь? Шопенгауэр никогда не хочет казаться: он пишет для себя, а никто не хочет быть обманутым, и тем более философ, который ставит себе закон: не обманывай никого, и даже самого себя! Он не пользуется даже тем любезным общественным обманом,

который влечет за собою почти бессознательно; еще менее пользуется он более сознательным обманом с ораторской трибуны и искусственными средствами риторики. Нет, Шопенгауэр говорит с самим собою; или, если непременно нужно думать о слушателе, то можно представить себе сына, которого поучает отец. Это – честная, грубоватая, добродушная беседа с любовно внимающим слушателем. Таких писателей нам недостает. Могучее самочувствие говорящего овладевает нами с первых звуков его голоса; мы как будто входим в горный лес, мы дышим глубоко, и снова наконец чувствуем себя хорошо. Здесь мы ощущаем всюду одинаковую укрепляющую атмосферу; здесь есть какая-то неподражаемая свобода и естественность, как бывает у людей, которые сознают себя господами своего внутреннего дома и притом весьма богатого дома; в противоположность писателям, которые сами больше всего удивляются тому, что они случайно оказались умными, и стиль которых приобретает в силу этого какой-то неспокойный и неестественный характер. Столь же мало речь Шопенгауэра напоминает нам речь ученого, у которого от природы негибкие и неумелые члены и узкая грудь и который выступает поэтому угловато, неуклюже и напыщенно; тогда как, с другой стороны, неотесанная и немного медвежья душа Шопенгауэра учит нас не столько искать изящества и светской прелести хороших французских писателей, сколько пренебрегать этими качествами, и никто не найдет у него того поддельного, как бы посеребренного мнимо-французского стиля, к которому так стремятся немецкие писатели. Речь Шопенгауэра изредка напоминает мне немного речь Гёте, в общем же для нее нет немецких образцов. Ибо он умеет говорить глубокомысленные вещи просто, захватывающие – без риторики, строго-научные – без педантизма; у какого же немца он мог научиться этому? Он свободен также от утонченной, чрезмерно подвижной и – с позволения сказать – несколько не немецкой манеры Лессинга: и это – большая заслуга, так как в отношении прозаического изложения Лессинг – самый соблазнительный писатель среди немцев. И – чтобы сразу сказать высшее, что я могу вообще сказать о его стиле, – я отношу к нему положение: «Философ должен быть очень честным, чтобы не пользоваться никакими поэтическими или риторическими вспомогательными средствами». Что честность есть нечто положительное, и даже добродетель, – это, правда, принадлежит в эпоху общественных мнений к запрещенным частным мнениям; и поэтому будет не похвалою, а только характеристикой Шопенгауэра, если я повторю: он честен и как писатель; а ведь честных писателей так

мало, что собственно нужно быть недоверчивым ко всем людям, которые пишут. Я знаю только еще одного писателя, которого в отношении честности я ставлю рядом с Шопенгауэром, и даже выше его: это – Монтень. Что такой человек вообще писал – это, поистине, увеличивает охоту жить на этой земле. Мне, по крайней мере со времени знакомства с этой свободнейшей и могучей душой, хочется сказать о Монтене то, что он сам говорит о Плутархе: «едва я взглянул на него, как у меня выросла лишняя нога или крыло». С ним был бы я заодно, если бы дело шло о том, чтобы устроиться поуютнее на земле.

Шопенгауэр имеет еще другое качество, общее с Монтенем, помимо честности: веселость, которая действительно веселит. *Aliis laetus, sibi sapiens*. Есть два весьма различных рода веселости. Истинный мыслитель веселит и утешает всегда, высказывает ли он свою серьезную мысль или свою шутку, свое человеческое познание или свою божественную благость; он говорит без жалобных жестов, дрожащих рук, слезливых глаз, всегда уверенно и просто, бодро и сильно, быть может, немного по-рыцарски и сурово, но всегда как победитель; и именно это доставляет нам самое глубокое и полное веселье – видеть побеждающего бога рядом со всеми чудовищами, которых он поборол. Напротив, веселость, которую встречаешь порою у посредственных писателей и у ограниченных мыслителей, делает нашего брата несчастным, как я это, например, испытывал при чтении Давида Штрауса. Чувствуешь настоящий стыд иметь таких веселых современников, потому что они обличают перед потомством наше время и нас, его участников. Подобные весельчаки совсем не видят страданий и чудовищ, хотя они выдают себя за мыслителей, способных знать и побеждать их; их веселость возбуждает досаду, потому что она обманывает: она хочет уверить нас, что здесь завоевана победа. Ведь, в сущности, веселье есть только там, где есть победа: и это применимо к произведениям истинных мыслителей в такой же мере, как ко всякому художественному произведению. Пусть тема будет всегда столь ужасна и серьезна, сколь ужасна и серьезна на самом деле проблема жизни; подавляющим и мучительным образом произведение будет действовать на нас только, когда полумыслитель и полухудожник распространит вокруг него чад своего бессилия; тогда как человек не может пережить ничего лучшего и более радостного, чем близость к одному из тех победителей, которые, познав глубочайшее, должны полюбить самую основу жизни, и, будучи мудрецами, в конце пути приходят к красоте. Они действительно говорят, а не заикаются и не болтают вслед за другими; они действительно движутся и

живут, и не в тех жутких масках, в которых обыкновенно живут люди. Поэтому в их присутствии мы действительно чувствуем себя человечно и естественно и готовы воскликнуть вместе с Гёте: «Какая роскошная, драгоценная вещь – живое! Как приноровлено оно к своему состоянию, как истинно, как реально!»



Я изображаю здесь только первое, как бы физиологическое впечатление, которое произвел на меня Шопенгауэр. то волшебное излияние сокровеннейшей силы одного творения

природы на другое, которое совершается при первом и самом слабом прикосновении; и когда я задним числом анализирую это впечатление, я нахожу в нем соединение трех элементов: впечатления его честности, его веселости и его постоянства. Он честен, потому что говорит и пишет с самим собой и для себя самого, он весел, потому что мыслью одолел тягчайшее, и постоянен, потому что должен быть таковым. Его сила, подобно пламени при затишьи, поднимается легко и прямо вверх, без колебаний, без дрожи, без волнения. При всех обстоятельствах он находит свой путь, так что мы даже не замечаем, что он искал его; он подвигается так быстро и уверенно, так неизбежно, как будто повинуется закону тяготения. И кто раз почувствовал, что значит среди нашего современного гибридного человечества найти однажды настоящее, определенно выраженное, стоящее и движущееся на собственных ногах, нестесненное и невзнузданное естественное существо, тот поймет мое счастье и мое изумление, когда я нашел Шопенгауэра. Я почуял, что нашел в нем того воспитателя и философа, которого я так долго искал. Правда, я его встретил лишь в книге; и это было большим недо-статком. Тем более силился я смотреть сквозь книгу и представить себе живого человека, великое завещание которого я читал и который обещал сделать своими наследниками лишь тех, кто захотят и смогут быть не просто его читателями, но его сыновьями и питомцами.

3

Для меня философ имеет значение ровно настолько, насколько он может давать пример. Что своим примером он может увлечь за собою целые народы – в этом нет сомнения; это показывает история Индии, которая почти тождественна с историей индийской философии. Но он должен давать пример своей видимой жизнью, а не только книгами, т. е. так, как учили философы Греции: выражением лица, осанкой, одеждой, едой, привычками более, чем речью, и тем паче писаниями. А как много недостает нам в Германии для этой мужественной явственности философской жизни; здесь лишь постепенно освобождаются тела, когда души, по-видимому, уже давно освобождены; и все же дух не может быть истинно свободным и независимым, когда эта достигнутая независимость – которая в своей основе есть творческое само-ограничение – не доказывается сызнова каждым взглядом и шагом с утра до вечера. Кант был верен университету, подчинялся правительствам, сохранял видимость религиозной веры, выносил своих коллег и студентов; естественно поэтому, что его пример породил прежде всего университетских профессоров и профессорскую философию. Шопенгауэр мало стесняется с ученой кастой, обособляется, достигает независимости от государства и общества, – вот его пример, его образец, – чтобы отметить здесь лишь наиболее внешнюю сторону. Но много степеней в освобождении философской жизни еще неизвестны нам, немцам, хотя и не могут навсегда остаться неизвестными. Наши художники живут смелее и честнее; и самый сильный пример, стоящий перед нами – пример Рихарда Вагнера, – показывает, что гений не должен бояться вступать в самое враждебное противоречие с существующими формами и порядками, когда хочет вознести к свету высший порядок и истину, которые живут в нем. Правда, та «истина», о которой так много говорят наши профессора, есть, по-видимому, менее притязательное существо, не грозящее никаким беспорядком или непорядком: удобное и добродушное создание, которое непрерывно уверяет все существующие власти, что оно никому не хочет причинять никаких хлопот – ведь оно есть лишь «чистая наука». Итак, я хотел сказать, что немецкая философия должна все более разучаться быть «чистой наукой»; и таков именно пример Шопенгауэра-человека.

Но что он дорос до этого человеческого примера, есть положительное чудо, ибо извне и изнутри ему угрожали чудовищные опасности, которые могли бы раздавить или

раздробить всякое более слабое существо. Было, мне кажется, много данных к тому, чтобы Шопенгауэр-человек погиб, оставив после себя в лучшем случае «чистую науку»; но и то лишь – в лучшем случае, вероятнее всего не осталось бы ни человека, ни науки.

Один новый английский писатель так изображает самую основную опасность для необычайных людей, живущих среди общества, привязанного к обыденщине: «такие чужеродные характеры сначала тяготятся, затем впадают в меланхолию, затем заболевают и наконец умирают. Человек вроде Шелли не мог бы жить в Англии, и раса Шелли была бы невозможна». Наши Гельдерлины и Клейсты и им подобные погибали от этой своей необычайности и не выдерживали климата так называемой немецкой культуры; и только железные натуры, как Бетховен, Гёте, Шопенгауэр и Вагнер, могут устоять в нем. Но и у них действие утомительной борьбы и судорог сказывается на многих чертах и морщинах: они дышат тяжелее, и в их тоне часто есть что-то слишком насильственное. Один опытный дипломат, лишь мельком видевший Гёте и говоривший с ним, сказал своим друзьям: *Voila un homme, qui a eu de grands chagrins!* – что Гёте перевел так: «Он тоже из тех, кому пришлось солоно!» «Если, – прибавляет Гёте, – в чертах нашего лица не стираются следы перенесенных страданий и выполненных трудов, то не удивительно, что все, что остается от нас и наших стремлений, носит те же следы». И это – Гёте, на которого наши культурные филистеры указывают как на счастливейшего немца, чтобы этим доказать положение, что все-таки возможно стать счастливым среди них; при этом у них есть задняя мысль: нельзя простить никому, кто чувствует себя среди них несчастным и одиноким. Поэтому они даже выставили и практически поясняли с большой жестокостью утверждение, что во всяком уединении лежит тайная вина. Бедный Шопенгауэр тоже имел на душе такую вину, – а именно, он ценил свою философию больше, чем своих современников; и притом, к своему несчастью, он знал именно от Гёте, что для спасения своей философии он должен всеми средствами защищать ее против невнимания своих современников, ибо существует род инквизиционной цензуры, в которой немцы, по свидетельству Гёте, пошли далеко; эта цензура есть ненарушимое молчание. Оно достигло уже по меньшей мере того, что значительная часть первого издания главного произведения Шопенгауэра стала макулатурой. Грозящая опасность, что его великое деяние будет уничтожено просто его игнорированием, привела Шопенгауэра в ужасное и трудно укротимое беспокойство; у него не оказывалось ни одного более

или менее значительного приверженца. Нам печально видеть, как он гонится за малейшими следами своей известности; и его заключительный громкий, чрезмерно громкий триумф о том, что его наконец действительно читают (*«legor et legar»*), производит какое-то болезненно-трогательное впечатление. Именно все те черты, которые не свидетельствуют о достоинстве философа, обнаруживают страдающего человека, который трепещет за судьбу своих ценнейших благ; так, его мучило беспокойство потерять свое маленькое состояние и, быть может, оказаться не в силах удержать свое чистое, истинно античное отношение к философии; так, в своей жажде по вполне доверчивым и сострадательным людям, он попадал впросак и должен был постоянно снова с грустным взором возвращаться к своей верной собаке. Он был совершенным отшельником; ни один подлинно единомыслящий друг не утешал его – а между одним и не одним здесь, как и всюду между чем-либо и ничем, лежит бесконечность. Никто, имеющий истинных друзей, не знает, что такое есть подлинное одиночество, хотя бы он имел своим противником весь мир вокруг себя. – Ах, – я замечаю, – вы не знаете, что такое одиночество. Где существовали могущественные общества, правительства, религии, общественные мнения, – словом, где была какого-либо рода тирания, там она ненавидела одинокого философа, ибо философия открывает человеку убежище, куда не может проникнуть никакая тирания, пещеру внутренней жизни, лабиринт сердца; и это досадно тиранам. Туда скрываются одинокие; но там же таится и величайшая опасность для одиноких. Эти люди, укрывшие свою свободу во внутренний элемент, должны иметь и внешнюю жизнь, быть видимыми, показывать себя; в силу рождения, местопребывания, воспитания, отечества, случайностей, а также назойливости других людей, они связаны бесчисленными человеческими отношениями; точно так же им приписываются бесчисленные мнения, просто потому, что это – господствующие мнения; каждый их жест, не выражающий отрицания, признается согласием; каждое движение руки, которое не разрушает, толкуется как одобрение. Они знают, эти одинокие и свободные духом, что они всегда в чем-либо кажутся не тем, что они суть по своим мыслям; тогда как они стремятся только к истине и честности, вокруг них завязывается сеть недоразумений; и их страстное вожделение правды не может предупредить, чтобы на их действиях не остался лежать чад ложных мнений, приспособления, полупризнаний, щадящего умалчивания, ошибочных толкований. Это собирает облако меланхолии на их челе; ибо необходимость казаться не тем, что есть, такие натуры ненавидят больше смерти; и продолжительное

озлобление делает их вулканическими и угрожающими. От времени до времени они мстят за свое насильственное самоскрывание, за свою вынужденную сдержанность. Они выходят из своей пещеры со страшным выражением лица; их слова и действия суть тогда взрывы, и случается, что они сами от этого погибают. Так опасно жил Шопенгауэр. Именно такие одинокие люди нуждаются в любви, ищут товарищей, перед которыми они могут быть открытыми и простыми, как перед самими собою, в присутствии которых прекращаются судороги молчания и позы. Отнимите этих товарищей, и вы создадите еще большую опасность; Генрих Клейст погиб из-за этой заброшенности, и самое опасное противоядие против необычных людей – это вогнать их так глубоко в самих себя, что их обратное движение к жизни становится всегда вулканическим взрывом. Но встречаются полубоги, которые умеют жить при таких ужасных условиях и даже жить победоносно; и если вы хотите услышать их одинокие песни – слушайте музыку Бетховена.

Такова была первая опасность, в тени которой вырастал Шопенгауэр: одиночество. Вторая же называется: отчаяние в истине. Эта опасность сопровождает каждого мыслителя, путь которого исходит от кантовской философии, если только он сильный и цельный человек в своих страданиях и желаниях, а не дребезжащая мыслительно-счетная машина. Мы, конечно, все хорошо знаем, что именно относительно этого условия дело обстоит весьма постыдно; мне кажется даже, что лишь на очень немногих людей Кант вообще оказал живое влияние и преобразовал их кровь и соки. Правда, мы всюду можем прочесть, что деяние этого тихого ученого вызвало революцию во всех областях духовной жизни; но я не могу поверить этому, потому что я не вижу этого на людях, которые должны были бы прежде всего революционизироваться сами, чтобы революция могла захватить целые области. Но как скоро Кант начнет оказывать действительное влияние на массы, оно скажется в форме разъедающего и раздробляющего скептицизма и релятивизма; и лишь у самых деятельных и благородных умов, которые никогда не выдерживали состояния сомнения, его место заступило бы то духовное потрясение и отчаяние во всякой истине, какое пережил, например, Генрих Клейст под влиянием философии Канта. «Недавно – пишет он как-то в своем захватывающем стиле, – я ознакомился с философией Канта и должен теперь сообщить тебе одну мысль из нее; ведь мне не нужно бояться, что она потрясет тебя так же глубоко, так же болезненно, как и меня. Мы не можем решить, есть ли то, что мы зовем истиной, подлинная истина, или это только так нам кажется. Если верно

последнее, то истина, которую мы здесь собираем, после нашей смерти не существует более, и все наше стремление приобрести достояние, которое следовало бы за нами в могилу, тщетно. Если острие этой мысли не затронет твоего сердца, то улыбнись над другим человеком, который чувствует себя глубоко пораненным в своем интимнейшем святилище. Моя единственная, моя высшая цель пала, и у меня нет другой». Когда же люди будут снова ощущать так естественно, как Клейст, когда же они научатся снова измерять смысл философии по действию на свое «интимнейшее святилище»? И все же это необходимо, чтобы оценить, чем может быть для нас после Канта Шопенгауэр – именно вождем, который ведет нас с высот скептического недовольства или критического отречения на высоты трагического жизнепонимания; под бесконечным ночным небом с его звездами, и который сам впервые проложил себе этот путь. Его величие в том, что он стоит перед картиной мира как перед целым и толкует ее как нечто целое; тогда как даже самые острые головы не могут освободиться от заблуждения, будто к истолкованию жизни можно приблизиться путем тщательного исследования отдельных красок, которыми написана картина, и материала, на котором она написана; причем результатом исследования может явиться вывод, что это – весьма тонко вытканное полотно, и что наложенные на него краски химически неопределимы. Шопенгауэр же знал: для того, чтобы понять картину, нужно разгадать ее художника. Однако весь цех наук занят постижением только полотна и красок, а не самой картины; можно даже сказать, что лишь тот, кто твердо сосредоточил внимание на общей картине жизни и бытия, может, не вредя себе, пользоваться отдельными науками; ибо вне такого руководящего общего представления они только – отдельные нити, которые нигде не ведут до конца и лишь запутывают и усложняют наш жизненный ход. Повторяю, Шопенгауэр велик тем, что преследует эту картину, как Гамлет – духа, не уклоняясь в сторону, как делают ученые, и не удовлетворяясь логической схоластикой, что бывает уделом необузданных диалектиков. Изучение всех четверть-философов нужно лишь для того, чтобы понять, что последние попадают сразу в те места в строении великих философий, в которых возможны ученые «за» и «против», – хитроумные размышления, сомнения, противоречия, – и что этим они уклоняются от требования всякой великой философии, которая, как целое, всегда говорит лишь одно: вот картина всей жизни, и из нее научись понимать смысл твоей жизни. И наоборот: читай лишь свою жизнь, и из нее понимай иероглифы жизни в целом. И так нужно прежде всего толковать и философию

Шопенгауэра: индивидуально, исходя от отдельной личности самой по себе, познавая собственную нужду и потребность, собственную ограниченность, чтобы найти средства и утешение против них – именно самопожертвование, подчинение себя благороднейшим целям, и прежде всего целям справедливости и милосердия. Он учит нас различать между действительными и мнимыми средствами к человеческому счастью; он показывает, что ни богатство, ни почет, ни ученость не могут вывести личность из ее глубокого недовольства ничтожеством ее бытия, что стремление к этим благам приобретает лишь смысл в соединении с высокой и озаряющей общей целью – с влечением к могуществу, способному помочь нашей *Physis* и немного исправить ее неразумность и неловкость. Этого ищешь прежде всего тоже только для самого себя; через себя же, в конечном счете, для всех. Правда, это есть стремление, которое приводит к глубокому и сердечному смирению, ибо много ли может быть вообще исправлено в отдельной личности и во всей жизни!

А. Шопенгауэр в молодые годы

Если мы применим эти слова к Шопенгауэру, то мы коснемся третьей и своеобразнейшей опасности, в которой он жил и которая таилась во всем строении и скелете его существа. Каждый человек находит обыкновенно в себе пределы как своему дарованию, так и своей нравственной воле, и это наполняет его тоской и меланхолией; и если чувство своей греховности влечет его к святости, то в качестве интеллектуального существа он

несет в себе глубокое стремление к своему собственному гению. В этом – корень всякой истинной культуры, и если под последней я буду разуметь влечение человека возродиться в образе святого и гения, то я знаю, что не нужно быть буддистом, чтобы понять этот миф. Где мы встречаем дарование без этого влечения – в кругу ученых, а также среди так называемых культурных людей, – там оно внушает нам досаду и отвращение; ибо мы чуем, что такие люди, при всем своем духовном богатстве не содействуют, а препятствуют росту новой культуры и созиданию гения, т. е. цели всякой культуры. Это есть состояние окаменения, равноценное той привычной, холодной и самодовольной добродетельности, которая также более всего далека от истинной святости и чуждается ее. В этом отношении в натуре Шопенгауэра лежала странная и крайне опасная двойственность. Лишь немногие мыслители ощущали в такой мере и с такой несравненной определенностью, что в них живет гений; и его гений обещал ему высшее – что не будет более глубокой борозды, чем та, которую проводит его плуг по почве нового человечества. Таким образом он сознавал одну половину своего существа насыщенной и удовлетворенной, лишенной желаний и полной уверенности в своей силе, и с величием и достоинством нес свое призвание победоносно-законченного гения. В другой половине его существа жило неукротимое томление; мы узнаем его, когда слышим, что он с болью отвращал свой взор от изображения великого основателя *la Trappe*, Рансэ, говоря: «Это – дело благодати». Ибо гений сильнее других стремится к святости, так как со своей вершины он видит дальше и яснее, чем другой человек, – видит глубину примирения между познанием и бытием, царство мира и побежденной воли, очертания другого берега, о котором говорят индусы. Но в этом-то и состоит чудо: сколь непостижимо-цельной и неразрушимой должна была быть натура Шопенгауэра, если и эта тоска не могла разрушить и даже ожесточить ее! Что это означает, – это каждый поймет в меру того, что и сколько есть он сам; целиком же и во всей силе этого не поймет никто из нас.

Чем больше размышляешь об описанных трех опасностях, тем загадочнее представляется бодрость, с которой Шопенгауэр боролся против них, и здоровье и крепость, которые он вынес из этой борьбы. Правда, он вышел из нее с многими шрамами и открытыми ранами и в настроении, которое, быть может, покажется чересчур жестким и подчас и слишком воинственным. Даже над величайшим человеком возвышается его собственный идеал. Но что Шопенгауэр может служить образцом – это несомненно, несмотря на все эти шрамы и пятна. Я готов даже сказать: то, что в его существе было несовершенным и слишком

человеческим, именно в самом человеческом смысле сближает нас с ним, ибо мы видим в нем страждущего и нашего товарища по страданиям, а не только недоступно-высокого гения.

Те три органические опасности, которые угрожали Шопенгауэру, угрожают нам всем. Каждый из нас несет в себе как ядро своего существа некую творческую единственность: и когда он осознает эту единственность, вокруг него появляется своеобразный ореол – ореол необычного. Для большинства это есть нечто невыносимое – ибо, повторяю, они ленивы, а с этой единственностью связана цепь усилий и тягот. Нет сомнения, что для необычного человека, который отягощает себя этой цепью, жизнь теряет почти все, чего от нее ждешь в юности: веселье, устойчивость, легкость, почет. Судьба одиночества – вот дар, который ему подносят его ближние; пустыня и пещера всегда готовы – он может жить, как хочет. Пусть он остерегается дать себя поработить, стать подавленным и меланхоличным, и потому пусть он окружит себя образами славных и смелых борцов, одним из которых был сам Шопенгауэр. Но и вторая опасность, угрожавшая Шопенгауэру, не совсем редка. Иногда человек от природы вооружен острым взором, и его мысли охотно вступают на диалектическую тропу; если он отпустит повода своему дарованию, – как легко может он погибнуть духовно, чтобы вести лишь полупризрачное существование в «чистой науке»; или, привыкнув отыскивать в вещах «за» и «против», как легко может он отчаяться в самой истине и жить без бодрости и доверия, отрицая, сомневаясь, критикуя в недовольстве, в полунадежде, в ожидании последнего разочарования – *es mochte kein Hund so langen leben!* Третья опасность есть ожесточение в нравственном и в интеллектуальном отношении: человек разрывает нить, которая его связывала с его идеалом; он перестает быть плодотворным в той или иной области, перестает созидать себе подобное и в отношении культуры становится вредным или бесполезным. Единственность его существа становится неделимым и необнаружимым атомом, холодной окаменелостью. И, таким образом, человека может погубить его единственность, как и боязнь этой единственности, его собственное я, как и отказ от него, полнота влечений и ожесточение; и жить значит вообще находиться в опасности.

Кроме этих опасностей, которым Шопенгауэр был бы подвержен в силу всей своей организации, – все равно, в какое бы время он ни жил, – есть еще иные опасности, которые исходили из его времени; и это различие между органическими опасностями и опасностями времени существенно для выяснения того, что есть образцового и воспитательного в натуре

Шопенгауэра. Представим себе философа со взором, устремленным на бытие; он хочет вновь определить его ценность. Ибо своеобразная работа всех великих мыслителей состояла в том, чтобы быть законодателями для меры, ценности и веса вещей. Какой помехой будет для него то, что человечество, которое он видит перед собой, именно в его время есть дряблый, изъеденный червями плод. Как много должен он добавлять к ничтожной ценности своего времени, чтобы быть справедливым к бытию вообще. Если изучение истории прошлых или чужих народов ценно, то больше всего для философа, который должен произнести справедливый приговор о человеческой судьбе в целом, т. е. не только о средней, но и прежде всего о высшей судьбе, которая может выпасть на долю отдельных людей или целых народов. Но все современное назойливо, оно действует и влияет на взор, даже когда философ того не хочет, и непроизвольно оно будет слишком высоко оценено в общем итоге. Поэтому философ должен надлежащим образом оценить свое время в его отличии от других эпох и, преодолевая современность для себя, преодолеть его также в том понятии о жизни, которое он дает, т. е. сделать незаметным и как бы затушевать. Это – тяжелая и почти неразрешимая задача. Суждение старых греческих философов о ценности жизни говорит бесконечно больше, чем современное суждение, потому что они имели вокруг себя и перед собой самое жизнь в ее пышнейшем расцвете, и потому что у них настроение мыслителя не затемнялось раздором между желанием свободы, красоты, величия жизни и влечением к истине, которое лишь спрашивает: какова ценность жизни вообще? Суждение, которое высказал о жизни Эмпедокл, среди могучей и роскошной жизнерадостности греческой культуры, сохраняет значение для всех времен; оно имеет весьма большой вес, тем более, что ему не противоречит ни одно иное суждение какого-либо другого великого философа того же великого времени. Он говорит лишь отчетливее других, но в сущности – т. е. если уметь как следует раскрыть уши – они все гово-рят то же самое. Современный же мыслитель, повторяю, всегда будет страдать от невыполнимого желания: он будет требовать, чтобы ему сперва показали снова жизнь – настоящую, красную, здоровую жизнь, и лишь затем он сможет произнести о ней свой приговор. По меньшей мере в отношении самого себя он будет считать нужным быть живым человеком прежде, чем иметь основание признать себя справедливым судьей. Вот почему именно новые философы принадлежат к могущественнейшим пособникам жизни и пробудителям воли к жизни, вот почему они стремятся от своей собственной ослабевшей эпохи к культуре, к

преображенной Physis. Но это стремление есть вместе с тем и их опасность: в них реформатор жизни борется с философом, т. е. с судьей жизни. И в какую бы сторону ни склонилась победа, эта победа всегда заключает в себе потерю. Как же избег Шопенгауэр и этой опасности?

Если каждый великий человек охотнее всего рассматривается как истое дитя своего времени и во всяком случае сильнее и ощутительнее страдает всеми его недугами, чем все меньшие люди, то борьба такого великого человека против своего времени есть, по-видимому, лишь бессмысленная и разрушительная борьба с самим собой. Но именно лишь по-видимому; ибо он борется с тем, что мешает ему быть великим, – а это означает у него лишь: свободно и цельно быть самим собой. Отсюда следует, что его вражда в сущности направлена против того, что хотя и есть в нем, но не есть собственно он сам – именно против нечистого нагромождения чужеродных и вечно несоединимых начал, против ложного прицепления своевременного к его несвоевременной природе: и в конечном счете мнимое дитя своего времени оказывается лишь пасынком последнего. Так и Шопенгауэр уже с ранней юности выступал против этой мнимой, тщеславной и недо-стойной своей матери – своей эпохи, и, как бы отгоняя ее от себя, очищал и оздоровлял свое существо и обретал себя снова в своем исконном здоровье и чистоте. Поэтому произведениями Шопенгауэра можно пользоваться как зеркалом времени; и уж конечно не вина зеркала, если все своевременное отражается в нем как искажающая болезнь, как худоба и бледность, как впалые глаза и вялые черты, если в нем ясно видны страдания пасынка. Жажда сильной натуры, здоровой и простой человечности, была у него влечением к самому себе, и как только он преодолел в себе время, он изумленным взором увидал своего гения. Тайна его существа открылась ему теперь, намерение мачехи-времени скрыть от него этого гения было разрушено, и было найдено царство преображенной *Physis*. И когда он теперь безбоязненно обращал свой взор на вопрос: «какова ценность жизни вообще?» – то ему уже не нужно было осуждать беспорядочное и бледное время и его лицемерно-смутную жизнь. Он хорошо знал, что на этой земле есть и может быть найдено нечто более высокое и чистое, чем подобная своевременная жизнь, и что каждый, кто знает и судит бытие только по этой безобразной его форме, относится к нему совершенно несправедливо. Нет, теперь вызывается сам гений, чтобы услышать, не может ли он, этот высший плод жизни, оправдать жизнь вообще; великолепный творческий человек должен ответить на вопрос: «Утверждаешь ли ты в глубине души

это бытие? Удовлетворяет ли оно тебя? Хочешь ли быть его защитником, его искупителем? Одно лишь правдивое «да!» из твоих уст – и столь тяжко обвиняемая жизнь будет оправдана!» Что ответит он на это? Его ответ – есть ответ Эмпедокла.

4

Пусть этот последний намек остается пока непонятым; для меня теперь дело идет о чем-то весьма понятном – я хочу показать, как с помощью Шопенгауэра мы можем воспитаться в духе, противоположном нашему времени, – потому что у нас есть то преимущество, что, благодаря ему, мы действительно знаем наше время – если, впрочем, видеть в этом преимущество! Во всяком случае, несколькими веками позднее это вообще уже не будет возможно. Я наслаждаюсь фантазией, что люди как-нибудь вскоре пресытятся чтением, а вдобавок и писателями, что ученый однажды опомнится, составит свое завещание и распорядится в нем, чтобы его труп был сожжен вместе с его книгами, и в особенности вместе с его собственными произведениями. И если говорят, что леса все редеют, то не может ли когда-нибудь настать пора обращаться с библиотеками как с дровами, соломой и хворостом? Ведь большинство книг родилось из головного дыма и пара; так пусть же они снова обратятся в дым и пар! И если в них не было огня, то пусть их огонь накажет за это! Итак, не лишено возможности, что позднейший век признает именно нашу эпоху за *saeculum obscurum*, потому что именно его произведениями будут усерднее и дольше всего топить печи. Как счастливы мы, следовательно, что можем еще узнать нашу эпоху! И если вообще имеет смысл заниматься своим временем, то во всяком случае надо считать счастьем столь основательное знакомство с ним, что уж не может оставаться никаких сомнений в нем; а это именно и дает нам Шопенгауэр.

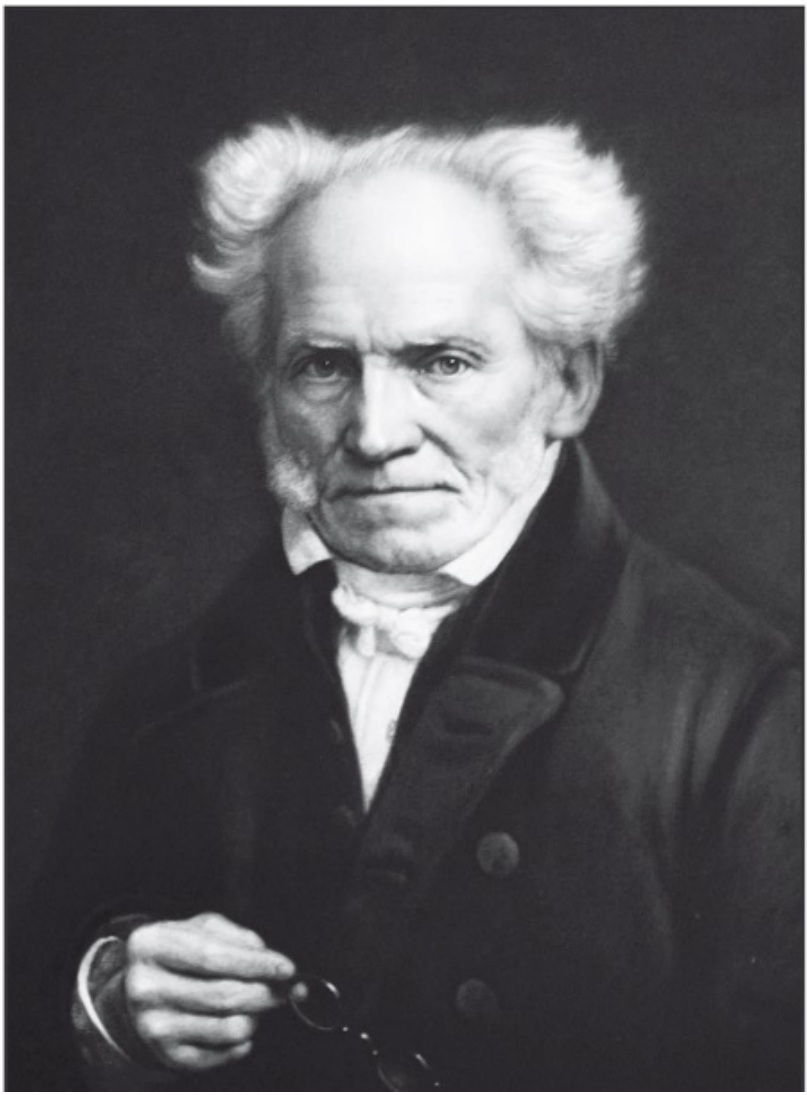
Конечно, в сто раз больше было бы наше счастье, если бы это исследование показало, что еще никогда не бывало чего-либо столь гордого и обильного надеждами, как наша эпоха. И в настоящую минуту имеются в некоторых уголках земли, например в Германии, наивные люди, которые пытаются верить в нечто подобное и которые даже совершенно серьезно говорят о том, что несколько лет тому назад мир был исправлен и что люди, которые, быть может, питают тяжелые и темные сомнения относительно бытия, опровергнуты «фактами». Ибо дело обстоит так: основание новой германской империи есть решительный и уничтожающий удар, нанесенный всякому «пессимистическому» философствованию – и ни на грош меньше. Кто хочет ответить на вопрос: «Какое значение имеет в наше время философ в качестве воспитателя?», – тот должен ответить и на это весьма распространенное и особенно культивируемое в университетах мнение, и притом следующим образом: срам и позор, что такая

омерзительная, идолопоклонствующая перед модой лесть высказывается и повторяется так называемыми мыслящими и достойными людьми; это доказывает лишь, что они даже не подозревают, как далеко философская правда отстоит от правды газетной. Такие люди потеряли последний остаток не только философского, но и религиозного образа мыслей, и взамен всего этого получили даже и не оптимизм, а просто журнализм, – дух и бездушие дня и ежедневных листков. Всякая философия, которая верит, что политическое событие может вытеснить или даже разрешить проблему бытия, есть насмешка и карикатура на философию. С тех пор, как стоит мир, государства не раз основывались; это довольно старая история. Как же может политическое новшество само по себе сделать людей раз навсегда довольными обитателями земного шара? Но если кто-либо от всей души верит, что это возможно, пусть он только заявит о себе; ибо он поистине заслуживает стать профессором философии в немецком университете, подобно Гармсу в Берлине, Юргену Мейеру в Бонне и Карриеру в Мюнхене.

Здесь мы видим результаты того учения, с недавних пор проповедуемого на всех перекрестках, что государство есть высшая цель человечества и что у человека не может быть более высокой обязанности, чем служить государству, – учения, в котором я усматриваю возврат не к язычеству, а к глупости. Может быть, человек, который видит в государственной службе свой высший долг, действительно не знает никаких более высоких обязанностей, но из этого не следует, чтобы не существовало еще иных людей и обязанностей; и одна из этих обязанностей, которую я по крайней мере считаю более высокой, чем государственная служба, состоит в том, чтобы разрушать глупость во всех ее видах, и в том числе, стало быть, и эту глупость. Вот почему меня интересует здесь тот род людей, телеология которых несколько выходит за пределы государственного блага, – именно философы, да и то лишь в их отношении к миру, который, в свою очередь, довольно независим от государственного блага, – к культуре. Среди многих колец, которые, продетые одно в другое, образуют общественное бытие людей, есть золотые и есть томпаковые.

Как же смотрит философ в наше время на культуру? Конечно, совсем иначе, чем те довольные своим государством профессора философии, о которых мы только что говорили. Он почти воспринимает симптомы полного истребления и искоренения культуры, когда думает о всеобщей спешке и возрастающей быстроте падения, о прекращении всякой созерцательности и простоты. Воды религии отливают и оставляют за собой болото

или топи; народы снова разделяются, враждуют между собой и хотят растерзать друг друга. Науки, культивируемые без всякой меры в слепом *laisser faire*, раздробляют и подмывают всякую твердую веру; образованные классы и государства захвачены потоком грандиозного и презренного денежного хозяйства. Никогда мир не был в такой степени миром, никогда он не был беднее любовью и благостью. Ученые круги не являются уже маяками или убежищами среди всей этой суеты обмирщения; они сами с каждым днем становятся все беспокойнее, все более бессмысленными и бессердечными. Все, включая и современное искусство и науку, служит грядущему варварству. Культурный человек выродился в величайшего врага культуры, ибо он облыжно отрицает общую болезнь и препятствует врачам. Они ожесточаются, эти обессиленные бедные плуты, когда говорят об их слабости и противодействуют их вредному духу лжи. Им очень хотелось бы заставить нас поверить, что они побили рекорд в состязании всех веков, и они держатся с искусственной веселостью. В их манере симулировать счастье есть подчас что-то трогательное, так как их счастье совершенно непостижимо. Их даже не хочется спросить, как Тангейзер спросил Битерольфа: «Чем же ты, несчастный, насладился?» Увы! Мы ведь сами хорошо знаем это. Над нами навис зимний день, и мы живем на высокой горе, в нужде и опасности. Кратка всякая радость, и бледен всякий луч солнца, который скользит к нам по белым горам. Вот раздается музыка, старик вертит шарманку, люди пляшут – и с трепетом смотрит на это путник; так дико, замкнуто, бесцветно и безнадежно здесь все, и среди этой нищеты слышен звук радости, громкой безмысленной радости! Но уже спускаются туманы раннего вечера, звук замолкает, и скрипят по снегу шаги путника; куда он ни смотрит, он видит лишь пустынное и жестокое лицо природы.



А. Шопенгауэр

Но если бы было односторонним отмечать лишь бледность линий и туманность красок в картине современной жизни, то, во всяком случае, обратная сторона ничем не отраднее, а лишь еще более тревожна. Конечно, существуют силы, и даже огромные силы, но это – силы дикие, первобытные и совершенно немилосердные. На них смотришь с трепетным ожиданием, как на котел волшебной кухни: каждое мгновение что-то может

дрогнуть и блеснуть в нем, возвещая ужасные явления. Уже целое столетие мы подготовлены к капитальным потрясениям; и если с недавних пор пытаются этому глубочайшему современному влечению к разрушениям и взрывам противопоставить обустраивающую силу так называемого национального государства, то ведь и последнее еще долго будет служить лишь к увеличению всеобщей непрочности и угрожаемости. И нас не введет в заблуждение, что отдельные люди живут так, как будто бы они ничего не знали о всех этих тревогах: их беспокойство показывает, что они их хорошо знают; они заняты собой с такой торопливостью и исключительностью, с какой еще никогда люди не думали о себе; они строят и взращивают для текущего дня, и погоня за счастьем никогда не бывает горячее, чем когда оно должно быть захвачено между сегодняшним и завтрашним днем, ибо послезавтра, быть может, пора для охоты вообще придет к концу. Мы живем в эпоху атомов и атомистического хаоса. В средние века враждебные силы более или менее сдерживались церковью, и производимое ею давление до известной степени сближало их между собой. Когда связь порывается и давление ослабевает, одна сила восстает против другой. Реформация признала многие вещи за *adiaphora*, – за области, которые не должны были определяться религиозной мыслью; это была цена, которой она купила себе самой право на существование, – подобно тому, как и само христианство, по сравнению с более религиозным античным миром, утвердило свое существование сходной ценой. С того времени это дифференцирование распространялось все дальше. Теперь почти все на свете определяется лишь самыми грубыми и злыми силами – эгоизмом приобретателей и военной тиранией. Правда, государство в руках военной власти пытается, как и эгоизм приобретателей, собственными силами организовать все снова и служить связью и давлением для всех этих враждебных сил; т. е. оно хочет, чтобы люди идолопоклонствовали перед ним так же, как они это делали прежде в отношении церкви. Будет ли эта попытка иметь успех? Мы еще увидим это; во всяком случае мы еще теперь живем среди ледохода средних веков; река вскрылась, и началось могучее опустошающее движение. Льдина громоздится на льдину; все берега затоплены и находятся в опасности. Революция совершенно неизбежна, и притом атомистическая революция; но в чем состоят мельчайшие, неделимые частицы человеческого общества?

Нет сомнения, что при приближении таких эпох человеческое находится еще в большей опасности, чем во время самого крушения и хаотического вихря, и что боязливое ожидание и

жадное использование минуты пробуждают все трусливые и эгоистические склонности души; тогда как действительная нужда и особенно всеобщая великая нужда способна улучшать и согревать людей. При таких опасностях нашей эпохи кто же захочет быть стражей и рыцарем человечности, этого неприкосновенного святого сокровища, постепенно накопленного многочисленными поколениями? Кто водрузит образ человека в то время когда все чувствуют в себе лишь себялюбивые вожделения и собачью трусость и, следовательно, отпали от этого образа, возвратясь назад в животную или даже мертвомеханическую стихию?

В новое время были выставлены один вслед за другим три образа человека, из созерцания которых смертные вероятно еще долго будут черпать стремление к преображению своей собственной жизни; это – человек Руссо, человек Гёте и человек Шопенгауэра. Из них первый образ – самый зажигательный, и ему обеспечено широчайшее влияние; второй создан лишь для немногих, именно для созерцательных натур в крупном стиле, и непонятен для массы. Третий ищет, в качестве своих зрителей, самых деятельных людей, ибо лишь такие могут без вреда смотреть на него; созерцательных же он ослабляет, а толпу пугает. От первого образа изошла сила, которая повлекла и еще влечет к бурным революциям, ибо во всех социалистических волнениях и землетрясениях все еще движется человек Руссо, подобно древнему Тифону под Этной. Угнетенный и наполовину раздавленный высокомерными кастами и беспощадным богатством, испорченный священниками и дурным воспитанием, стыдясь перед самим собой смешного склада своей жизни, человек в своей нужде призывает «святую природу» и внезапно чувствует, что она далека от него, как какой-нибудь бог Эпикура. Его мольбы не достигают ее – так глубоко погрузился он в хаос неестественного. С негодованием отбрасывает он все пестрые украшения, которые еще недавно казались ему самым человечным его достоянием, свои искусства и науки, преимущества своей утонченной жизни, – он бьет кулаком о стены, в тени которых он так выродился, и громко требует света, солнца, леса и скал. И когда он восклицает: «Одна лишь природа хороша, и только естественный человек человечен!» – то он презирает себя и стремится уйти от себя. В этом настроении душа готова к самым ужасным решениям, но вместе с тем вызывает из своих глубин все наиболее благородное и редкое.

Человек Гёте не представляет столь грозной опасности, и есть даже в известном смысле корректив и квиетив именно к тем опасным возбуждениям, которым подвержен человек Руссо. Гёте

сам в юности всем своим любвеобильным сердцем был привязан к евангелию доброй природы; его Фауст был высшей и смелейшей копией человека Руссо, по крайней мере поскольку нужно было изобразить последнего в его голоде по жизни, в его недовольстве и тоске, в его общении с демонами сердца. И теперь посмотрите, что рождается из всего этого скопления туч – наверно, уже не молния! Здесь именно и сказывается новый образ человека – человека Гёте. Можно было бы подумать, что Фауст проходит через эту всюду стесненную жизнь, как ненасытный бунтарь и освободитель, как сила, отрицающая из благости, как подлинный религиозный и демонический гений переворота, – в противоположность к его совсем не демоническому спутнику (хотя он и не может избавиться от этого спутника и должен одновременно и пользоваться скептической злобностью и отрицанием последнего, и презирать их – как это есть трагическая судьба всякого бунтаря и освободителя). Но подобное ожидание не оправдывается; человек Гёте покидает здесь человека Руссо; ибо он ненавидит все насильственное, всякий скачок – а это значит: всякое действие; и таким образом освободитель мира, Фауст, становится как бы только путешественником вокруг света. Все царства жизни и природы, все прошедшие эпохи, искусства, мифологии, все науки видят, как мимо них проносится ненасытный созерцатель; глубочайшие влечения возбуждаются и умиротворяются, даже Елена не может более удержать Фауста – и вот должно наступить мгновение, которого поджидает его глумливый спутник. В любом месте земли полет кончается, крылья отпадают, и Мефистофель уже тут как тут. Когда немец перестает быть Фаустом, для него нет большей опасности, чем стать филистером и попасть в руки дьявола – одни лишь небесные силы могут его спасти от этого. Человек Гёте, как я сказал, есть созерцательный человек высокого стиля, который лишь потому не погибает на земле от голода, что собирает для своего пропитания все великое и достопримечательное, что когда-либо было и еще есть на свете, хотя жизнь есть здесь лишь переход от одного вожделения к другому; он не деятельный человек; напротив, если он где-либо примкнет к определенной организации деятельных существ, то можно быть уверенным, что из этого не выйдет ничего путного – как, например, из всего усердия, которое сам Гёте обнаруживал к театральному делу – и прежде всего, что не будет опрокинут никакой «порядок». Человек Гёте есть консервативная и мирная сила, однако в нем таится опасность, как я уже сказал, выродиться в филистера, подобно тому, как человек Руссо легко может стать демагогом-заговорщиком. Если бы человек Гёте

обладал немного большею мускульной силой и первобытной дикостью, все его добродетели были бы крупнее. Кажется, Гёте сам сознавал, в чем опасность и слабость его человека; он наметил ее в словах, обращенных Ярно к Вильгельму Мейстеру: «Вы недовольны и раздражены – это мило и хорошо; разозлитесь как-нибудь порядком – и это будет еще лучше».

Итак, говоря совершенно открыто: чтобы стало лучше, необходимо, чтобы мы когда-нибудь сделались порядком злыми. И в этом нам должен помочь образ шопенгауэровского человека. Шопенгауэровский человек берет на себя добровольное страдание правдивости, и это страдание помогает ему убить личную волю и подготовить тот совершенный переворот в его существе, достижение которого и образует собственно смысл жизни. Это высказывание правды кажется другим людям порождением злобы, ибо в сохранении своей половинчатости и искусственности они видят долг человечности и полагают, что нужно быть злым, чтобы так разрушать их игрушки. Они склонны крикнуть такому человеку то, что Фауст говорит Мефистофелю: «вечно действенной, целебно-творческой силе ты противопоставляешь холодный кулак дьявола»; и тот, кто хотел бы жить по-шопенгауэровски, походил бы, вероятно, более на Мефистофеля, чем на Фауста, – именно для современных близоруких глаз, которые в отрицании всегда видят отпечаток зла. Но существует род отрицания и разрушения, который есть именно истечение могущественной жажды освящения и спасения жизни. И первым его философским наставником среди нас, утерявших святость и подлинно обмирщенных людей, выступил Шопенгауэр. Всякое бытие, которое можно отрицать, тем самым и заслуживает отрицания; и быть правдивым значит верить лишь в то бытие, которого нельзя отрицать и которое само истинно и правдиво. Поэтому правдивый человек сознает, что его деятельность имеет метафизическое, объяснимое из законов иной и высшей жизни и в глубочайшем смысле утверждающее значение; хотя все, что он делает, кажется разрушением и ломкой законов этой жизни. При этом его деятельность должна стать длительным страданием; но он знает то, что знает и Мейстер Экхарт: «быстрейшее животное, которое довезет вас до совершенства, есть страдание». Мне кажется, что у каждого, кто представит себе подобное направление жизни, должно расшириться сердце и зародиться горячее желание стать таким шопенгауэровским человеком, т. е. в отношении себя и своего личного блага быть чистым и изумительно равнодушным, в своем познавании быть исполненным могучего пожирающего пламени и бесконечно удаленным от холодной и презренной нейтральности так

называемых людей науки, высоко поднимаясь над ворчливо раздраженными мыслями, принося всегда себя первого в жертву познанной правде и глубоко сознавая те страдания, которые должны возникнуть из его правдивости. Правда, он уничтожает свое земное счастье своею храбростью, он должен быть враждебен даже людям, которых любит, и учреждениям, из лона которых он произошел, он не должен щадить ни людей, ни вещей, хотя сам страдает от наносимых им ударов, он останется непонятым и долго будет считаться союзником сил, которые ненавидит; благодаря ограниченности всякого человеческого понимания, он будет вынужден быть несправедливым, при всем своем стремлении к справедливости; но он может утешить себя словами, которые однажды употребляет Шопенгауэр, его великий воспитатель: «Счастливая жизнь невозможна; высшее, чего может достигнуть человек, есть героический жизненный путь. Таким путем идет тот, кто в какой-либо области и в каком-либо деле борется с чрезмерными трудностями за какое-либо общее благо и в заключение побеждает, но при этом плохо или совсем не вознаграждается. Тогда в конце пути он останавливается окаменелый, подобно принцу в Re corvo Гоцци, но в благородной позе и с великодушным жестом. Память о нем сохраняется и чествуется, как память героя; его воля, умерщвляемая в течение целой жизни трудом и усилиями, плохим успехом и неблагодарностью мира, угасает в нирване». Правда, такой героический жизненный путь, как и связанное с ним умерщвление воли менее всего соответствуют жалкому понятию тех, кто больше всего говорят об этом, празднуют торжества в память великих людей и полагают, что великий человек просто велик на тот же лад, как они сами – малы, т. е. как бы в виде подарка и для своего удовольствия, или же чисто механически и в слепом подчинении внутреннему принуждению; так что тот, кто не получит подарка и не чувствует принуждения, имеет такое же право быть малым, как великий человек – быть великим. Но быть одаренным или принужденным – это презренные слова, с помощью которых люди хотят уйти от внутреннего голоса, и хула на того, кто вслушался в этот голос, т. е. на великого человека; именно он меньше всех позволяет одаривать или принуждать себя. Не хуже всякого маленького человека знает он, как можно взять жизнь с легкой стороны и как мягка постель, в которой он мог бы растянуться, если бы стал обходиться с собой и с своими ближними прилично и на обычный лад; ведь все людские порядки устроены так, чтобы постоянно рассеивать мысли и не ощущать жизни. Почему же он так сильно хочет противоположного, т. е. непременно ощущать жизнь, – а это значит – страдать от жизни?

Потому, что он замечает, что его хотят обмануть относительно его самого, и что существует некоторого рода заговор, чтобы выкрасть его из его собственной пещеры. И вот он противится, навостряет уши и решает: «я хочу принадлежать самому себе!» Лишь постепенно он начинает понимать, как страшно это решение. Ибо отныне он должен спуститься в глубины бытия, с рядом необычайных вопросов на устах: зачем я живу? Какой урок могу я взять от жизни? Как я стал тем, что я есть, и почему же я страдаю от этой моей природы? Он мучится и видит, что никто так не мучится, что, наоборот, руки его ближних страстно протянуты к фантастическим событиям, разыгрывающимся на политической сцене, или что они сами разгуливают в сотне масок, переодетые юношами, мужами, старцами, отцами, гражданами, священниками, чиновниками, купцами, суетливо озабоченные своею общею комедией и нисколько не думая о себе самих. Все они на вопрос: зачем ты живешь? – быстро и гордо ответили бы: «чтобы стать хорошим гражданином, или ученым, или государственным деятелем», – и все же они суть что-то, что никогда не может стать иным, и почему они суть именно это? Увы! – это, а не что-либо лучшее? Кто понимает свою жизнь лишь как точку в развитии поколения или государства или науки и, следовательно, хочет целиком принадлежать к процессу становления, к истории, тот не понял урока, заданного ему бытием, и должен выучить его снова. Это вечное становление есть лживая кукольная комедия, из-за которой человек забывает себя самого, развлечение, которое рассеивает личность во все стороны, нескончаемая игра тупоумия, которою большое дитя – время – забавляется перед нами и с нами. Героизм же правдивости состоит в том, чтобы в один прекрасный день перестать быть его игрушкой. В становлении все пусто, обманчиво, плоско и достойно нашего презрения; загадку, которую человек должен разрешить, он может разрешить лишь в бытии, в бытии таким, а не иным, – лишь в непреходящем. Теперь он начинает испытывать, как глубоко он сросся со становлением, с одной стороны, и с бытием – с другой; чудовищная задача восстает перед его душой: разрушить все становящееся, осветить все ложное в вещах. Он тоже хочет все познать, но он хочет это иначе, чем гётевский человек, не ради благородной изнеженности, чтобы сохранить себя и усладить многообразием вещей; напротив, себя самого он первого приносит в жертву. Героический человек презирает свое благополучие и злополучие, свои добродетели и пороки и вообще измерение вещей меркой своей личности, он ничего не ждет больше от самого себя и хочет во всех вещах увидеть эту безнадежную их основу. Его сила лежит в

самозабвении; и если он вспоминает себя, то он смотрит на себя с высоты своей великой цели, и ему кажется, что под собой и позади себя он видит неприметную горку шлака. «Старые мыслители всеми силами искали счастья и правды – а никогда человек не найдет того, чего он ищет», – гласит злое правило природы. Но кто ищет во всем неправды и добровольно приобщает себя несчастью, тому, быть может, уготовлено иное чудо разочарования: нечто невыразимое, по сравнению с чем счастье и истина суть лишь ночные чудища, приближается к нему, земля теряет свою тяжесть, земные события и силы становятся сонными грезами, и все вокруг озаряется тихим светом, как в летний вечер. Созерцателю чудится, что он только что просыпается и что вокруг него еще лишь реют облака исчезающего сна. Этим облакам тоже суждено когда-либо рассеяться; и тогда настанет день.

5

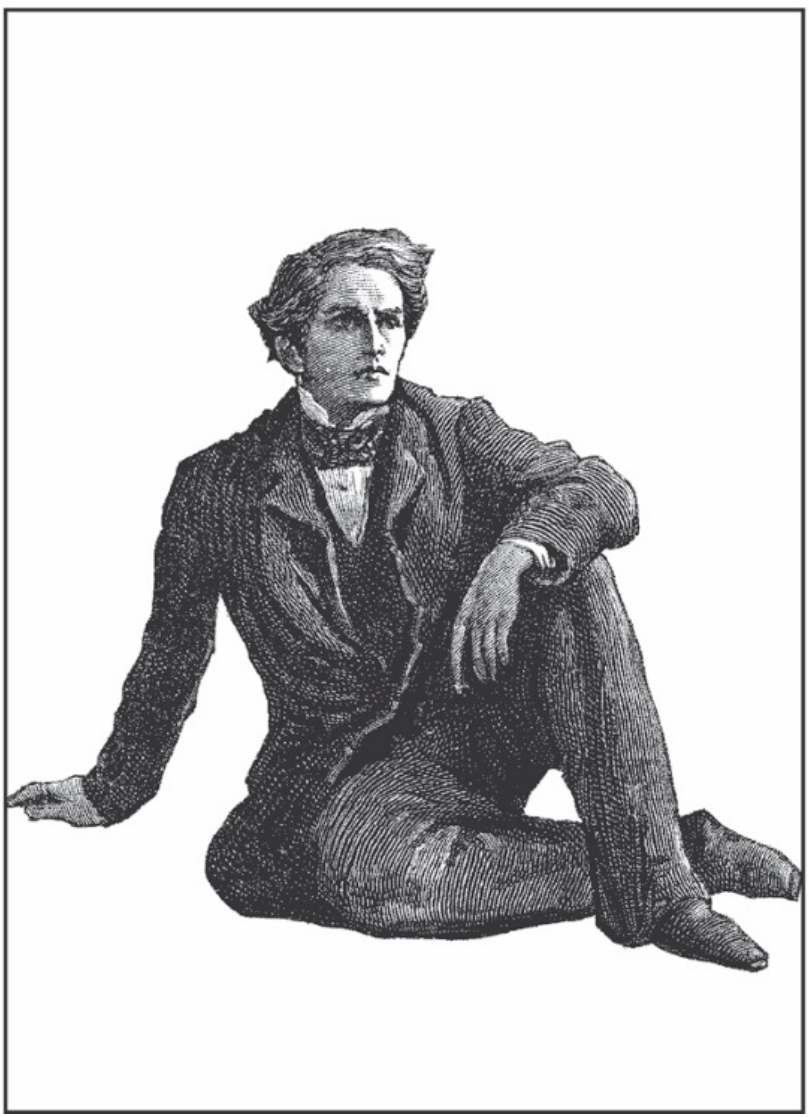
Но я обещал рассказать о Шопенгауэре как о воспитателе на основании своего личного опыта. А для этого совсем недостаточно обрисовать, да к тому же в несовершенных выражениях, того идеального человека, который царит в Шопенгауэре и вокруг него, образуя как бы его платоновскую идею. Остается еще самое трудное: сказать, каким образом из этого идеала проистекает новый круг обязанностей и как можно такую высочайшую цель связать с правильною деятельностью, – словом, доказать, что этот идеал имеет воспитательное значение. Иначе можно было бы подумать, что это есть лишь блаженное, пленительное настроение, которое доступно нам на отдельные мгновения, но вслед за тем тотчас же покидает нас, отдавая нас во впасть тем большего разочарования. И бесспорно, что так начинается наше знакомство с этим идеалом – такими внезапными сменами света и тьмы, упоения и отвращения, и что здесь повторяется опыт, столь же старый, как идеалы вообще. Но мы не должны стоять долго у дверей, и начальное состояние скоро кончается. И потому нужно поставить строго и отчетливо вопрос: возможно ли настолько приблизить эту непостижимо высокую цель чтобы, притягивая нас вверх, она вместе с тем воспитывала нас? В противном случае на нас могли бы осуществиться великие слова Гёте: «Человек рожден для ограниченного положения; он способен видеть простые, близкие, определенные цели и приучается пользоваться средствами, которые у него тут же под рукой; но как только он берется за отдаленное, он не знает ни – чего хочет, ни – что должен делать, и совершенно безразлично, разбрасывается ли он ввиду множества предметов или же его выводит из равновесия их высота и величие. Для человека всегда несчастье стремиться к чему-либо, с чем он не может связать себя правильной самодеятельностью». Это возражение, по-видимому, с полным правом может быть выставлено против шопенгауэровского человека: его величие и достоинство способно лишь выводить нас из равновесия и тем самым снова удаляет нас от всякого действенного общения; сотрудничество обязанностей, поток жизни – все исчезает при этом. Быть может при этих условиях один приучится делать досадное разграничение и жить на основании двоякого мерила, т. е. находиться в противоречии с самим собой, быть неуверенным и здесь и там и потому с каждым днем становиться все менее сильным и плодотворным; тогда как другой же принципиально откажется участвовать в деятельности

и еле будет смотреть, как действуют другие. Опасности всегда велики, когда человеку приходится слишком трудно и когда он не в состоянии выполнять обязанности; более сильные натуры могут на этом погибнуть; более слабые и многочисленные погружаются в созерцательную леность и под конец из лености теряют даже созерцательность.

В ответ на такие возражения я готов признать, что наша работа здесь едва лишь началась и что на основании собственного опыта я теперь вижу и знаю определенно лишь одно: что возможно, исходя от этого идеального образа, надеть на себя и других цепь выполнимых обязанностей и что некоторые из нас уже чувствуют давление этой цепи. Но чтобы без колебаний высказать формулу, которой я хотел бы охватить этот новый круг обязанностей, я нуждаюсь в следующих предварительных соображениях.

Более глубокие люди во все времена испытывали сострадание к животным именно потому, что последние страдают от жизни и все же не имеют силы обратить жало страдания против себя самих и истолковать метафизически свое бытие; вид бессмысленного страдания возмущает нас до глубины души. Поэтому не однажды возникало предположение, что в телах этих животных помещаются души отягощенных виною людей и что это, на первый взгляд, возмутительно бессмысленное страдание, полно высшего смысла и значения перед лицом вечной справедливости – именно есть наказание и покаяние. Поистине, тяжкая кара – жить в образе животного, томясь от голода и вожделений и не имея ни малейшего понимания этой жизни, и нельзя придумать судьбы более тяжелой, чем судьба хищного зверя, который гоним в пустыне мучительной нуждой, редко утоляет эти муки, да и то лишь так, что само удовлетворение становится страданием, достигаясь в раздирающей борьбе с другими зверями или выражаясь в отвратительной жадности и пресыщении. Быть так слепо и бешено привязанным к жизни без всякого высшего вознаграждения с ее стороны, не иметь даже и отдаленного знания о том, почему и за что терпишь это наказание, а, напротив, с ужасающей страстью бессмысленно жаждать его, как какого-то счастья – вот что значит быть животным; и если вся природа движется в сторону человека, то она дает этим понять, что человек нужен ей для ее спасения от проклятия животной жизни и что в нем, наконец, бытие находит себе такое отражение, в котором жизнь является уже не бессмысленной, а обнаруживает свою метафизическую значительность. Но рассудим поглубже: где кончается зверь и где начинается человек? Тот человек, который только и нужен

природе? Пока кто-либо стремится к жизни как к какому-то счастью, он еще не поднял взора над горизонтом зверя, и вся разница лишь в том, что он более сознательно стремится к тому, чего зверь ищет слепым инстинктом. Но ведь так живем мы все значительную часть нашей жизни: мы не выходим обычно из животного состояния, мы сами – звери, осужденные, по-видимому, на бессмысленное страдание.



Но есть мгновения, когда мы понимаем это, тогда облака

разрываются и мы видим, как, вместе со всей природой, нас влечет к человеку, т. е. к чему-то, что стоит высоко над нами. Содрогаясь, мы оглядываемся вокруг себя в этом внезапном свете и смотрим назад: мы видим, как бегут утонченные хищные звери и мы сами среди них. Чудовищная подвижность людей в великой земной пустыне, их созидание городов и государств, их ведение войн, их неустанное схождение и расхождение, их беспорядочная беготня, их взаимное подражание, их умение перехитрить и уничтожить друг друга, их крик в нужде, их радостный рев в победе – все это есть продолжение животного состояния; как будто человеку суждено сознательно регрессировать и обмануться в надежде на свои метафизические задатки – более того, как будто природа, так долго ждавшая человека и работавшая над ним, отшатывается теперь от него и готова вновь вернуться к бессознательности инстинкта. Ах, ей нужно познание, и она страшится того познания, в котором нуждается; и вот пламя, беспокойно и как бы пугаясь самого себя, колеблется во все стороны и охватывает тысячи вещей, прежде чем охватить то, ради чего вообще природа нуждается в познании. Мы все знаем в отдельные мгновения, что широчайшие планы нашей жизни создаются лишь для того, чтобы убежать от нашей истинной задачи, что мы охотно хотели бы куда-нибудь спрятать свою голову, где бы наша стоглазая совесть не могла нас поймать, что мы спешно дарим свое сердце государству, добыванию денег, общению с друзьями или науке, только чтобы не владеть им более, что мы даже отдаемся барщине ежедневного труда с такой горячностью и бешенством, какие вовсе не нужны для нашей жизни, – потому что, нам кажется, нужнее всего не приходить в сознание. Все полны этой спешки, ибо каждый бежит от себя самого; и все робко скрывают эту спешку, ибо хотят казаться довольными и не показать своей нищеты более зорким наблюдателям; все испытывают потребность в новых звучных словесных погремушках, чтобы обвешать ими жизнь и тем придать ей что-то шумно-праздничное. Всякому известно то странное состояние, когда нас внезапно одолевают неприятные воспоминания и мы стараемся порывистыми жестами и звуками изгнать их из сознания; но по жестам и звукам обычной нашей жизни можно угадать, что мы все и постоянно находимся в подобном состоянии – в состоянии страха перед воспоминанием и самоуглублением. Что же так часто задевает нас, какая муха не дает нам спать? Вокруг нас бродят привидения, каждое мгновение жизни хочет нам что-то сказать, но мы не хотим слушать эти таинственные голоса. Мы боимся, когда мы одни и в тишине, что нам прошепчут что-то на ухо, и потому мы ненавидим тишину и

оглушаем себя общением с людьми.

Повторяю, все это мы изредка понимаем и дивимся тогда всей нашей головокружительной спешке и боязни и всему состоянию нашей жизни, похожему на сон, когда мы боимся проснуться и грезим тем живее и беспокойнее, чем ближе мы к пробуждению. Но вместе с тем мы чувствуем, что мы слишком слабы, чтобы долго выносить такие мгновения глубочайшей сосредоточенности, и что мы – не те люди, к которым стремится вся природа как к своему спасению; достаточно уже, если нам вообще удается немного вынырнуть головой и заметить, в какой поток мы так глубоко погружены. Но даже вынырнуть и очнуться на мимолетное мгновение мы не можем собственными силами, нас должен поднять кто-нибудь – кто же именно?

Это те подлинные люди, которые уже не звери, – философы, художники и святые; при их появлении и в их появлении природа, которая никогда не делает скачков, делает свой единственный скачок, и притом скачок радости, ибо она чувствует себя впервые у цели, – т. е. там, где она понимает, что должна разучиться иметь цели и что она делала слишком высокие ставки в игре жизни и становления. Она преображается при этом познании, и кроткая вечерняя усталость – то, что люди зовут «красотой», – покоится на ее лике. То, что она высказывает теперь с этим преображенным выражением лица, есть великая разгадка бытия; и высшее желание, какое может иметь смертный, это – длительно и с открытыми ушами прислушиваться к этой разгадке. Если кто-либо подумает о том, что, например, должен был услышать в течение своей жизни Шопенгауэр, то он, вероятно, скажет затем самому себе: «О, мои глухие уши, моя мутная голова, мой колеблющийся разум, мое сдавленное сердце, все, что я зову своим, как я презираю это! Не уметь летать, а только трепыхать! Видеть над собой высоту и не уметь подняться на нее! Знать путь, который ведет к этому необозримому свободному горизонту философа, твердой ногой вступить на него и через несколько шагов отшатнуться обратно! И если бы хоть на один день было осуществимо это великое желание, – как охотно можно было бы отдать за него всю остальную жизнь! Подняться так высоко, как поднимается мыслитель, в чистую атмосферу Альп и снегов, туда, где нет уже туманов и завес и где основная сущность вещей выражается в резких и застывших формах, но с совершенной понятностью! При одной мысли об этом душа становится одинокой и бесконечной; но если бы ее желание исполнилось, если бы когда-либо взор пал на вещи прямо и светло, подобно лучу света, если бы замерли стыд, робость и вожделение, – каким словом назвать тогда ее состояние, этот новый и загадочный

трепет без возбуждения, с которым она тогда, подобно душе Шопенгауэра, осталась бы лежать на великой, писанной образами книге бытия, на окаменевшем учении о становлении не как ночь, а как раскаленный красный свет, заливающий весь мир. И какая участь – почуять своеобразное назначение и блаженство философа, чтобы ощутить всю шаткость и все злосчастие нефилософов, безнадежно жаждущих! Знать, что ты – плод на дереве, который никогда не может созреть от недостатка света, и тут же рядом с собой видеть солнечный свет, в котором ты нуждаешься!»

Здесь достаточно муки, чтобы сделать такого неудачника завистливым и злобным, если бы он вообще мог стать завистливым и злобным; но вероятно он обратит наконец свою душу в другую сторону, чтобы она не пожирала самое себя в этом тщетном влечении, – и теперь он откроет новый круг обязанностей.

И тут я дошел до ответа на во-прос: возможно ли связать себя правильной самодеятельностью с великим идеалом шопенгауэровского человека? Прежде всего бесспорно следующее: эти новые обязанности не суть обязанности одинокого; напротив, обладая ими, принадлежишь к могущественному сообществу, которое соединено, правда, не внешними формами и законами, но зато единой основной мыслью. Это – основная мысль культуры, поскольку последняя ставит перед каждым из нас лишь одну задачу: содействовать созиданию философа, художника и святого в нас и вне нас и тем трудиться над совершенствованием природы. Ибо как природа нуждается в философе, так она нуждается и в художнике – для метафизической цели, именно для своего собственного самоуяснения, для того, чтобы иметь наконец чистый и законченный образ того, что ей никогда не удается отчетливо рассмотреть в беспокойном процессе своего становления, – т. е. для своего самопознания. Гёте в глубокомысленно-шутливых словах дал понять, что для природы все ее попытки имеют лишь смысл, поскольку она ждет художника, который встретил бы ее на полпути, угадал наконец ее лепет и высказал бы то, на что собственно направлены ее попытки. «Я часто говорил, – восклицает он однажды, – и еще часто буду повторять, что *causa finalis* всех мировых и человеческих дел есть драматическая поэзия. Ведь вся штука абсолютно не годится ни на что другое». И, наконец, природа нуждается в святом, в котором совершенно растворилось «я» и страдальческая жизнь которого уже не ощущается или почти не ощущается индивидуально, а сознается как глубочайшее чувство равенства, солидарности и единства со всем живущим – в том

святом, в котором осуществляется чудесное превращение, недоступное игре становления, высшее и конечное вочеловечение, к которому стремится и влечется вся природа, как к спасению от самой себя. Нет сомнения, что мы все родственны ему и связаны с ним подобно тому, как мы родственны философу и художнику; бывают мгновения и как бы искры самого яркого и любвеобильного пламени, при свете которого мы уже не понимаем слова «я»; по ту сторону нашего существа лежит нечто, что в такие мгновения становится посю-сторонним, и потому мы из глубины души жаждем мостов между тем и этим берегом. Правда, в нашем обычном состоянии мы ничем не может содействовать созиданию спасительного человека; потому-то мы и ненавидим себя в этом состоянии, и эта ненависть есть корень того пессимизма, которому Шопенгауэр должен был снова обучать наше поколение, но который так же стар, как стремление к культуре. Она есть корень пессимизма, но не его цвет, его основание, а не его верхушка, начало его пути, а не его цель; ибо когда-нибудь мы должны еще научиться ненавидеть нечто иное и более всеобщее, чем нашу личность и ее жалкую ограниченность, ее изменчивость и ее беспокойство – в том более высоком состоянии, в котором мы будем любить также нечто иное, чем то, что мы можем любить теперь. Лишь когда, в нынешней или грядущей жизни, мы сами будем приняты в этот возвышенный орден философов, художников и святых, будет поставлена и новая цель нашей любви и ненависти; пока же у нас есть наша задача и наш круг обязанностей, наша ненависть и наша любовь. Ибо мы знаем, что такое культура. Она требует в отношении шопенгауэровского человека, чтобы мы постоянно подготовляли его созидание и содействовали ему, узнавая и устраняя с пути все враждебное культуре, – словом, чтобы мы неутомимо боролись против всего, что лишило нас высшего осуществления нашего бытия, помешав нам самим стать такими шопенгауэровскими людьми.

6

Часто бывает труднее согласиться с какой-либо истиной, чем усмотреть ее, и так и настроено, вероятно, большинство людей, когда они размышляют о положении: «человечество должно непрерывно трудиться над созиданием отдельных великих людей – и это, а не что иное, есть его задача». Как естественно было бы применить к обществу и его целям вывод, который можно извлечь из рассмотрения каждой породы животного и растительного царства, именно что в ней все сводится к отдельному высшему экземпляру, к более необычному, могущественному, сложному, производительному, – если бы внушенные нам воспитанием выдумки о цели общества не оказывали столь упорного противодействия. Собственно, легко понять, что там, где какой-либо вид достигает своей границы и своего перехода в высший вид, лежит и цель его развития, а не в массе экземпляров и их благосостоянии и еще менее – в экземплярах позднейших по времени; что эта цель скорее лежит в разбросанных и случайных, по-видимому, жизнях, которые изредка возникают там и сям при благоприятных условиях; и столь же легко, казалось бы, можно понять требование, чтобы человечество, способное осознавать свою цель, отыскивало и устанавливало эти благоприятные условия, при которых могут возникать великие спасительные люди. Но этому мешает все, что угодно: то эта конечная цель должна усматриваться в счастье всех или большинства, то – в развитии крупных сообществ; и сколь быстро человек решается пожертвовать своею жизнью, например государству, столь же медленно и неуверенно он стал бы вести себя, если бы не государство, а отдельный человек потребовал этой жертвы. Кажется нелепостью, чтобы человек жил ради другого человека: «нет, ради всех других людей или, по крайней мере, ради возможно большего числа!» О, милый человек, как будто более разумно ставить решение в зависимость от числа там, где дело идет о ценности и значении! Ибо вопрос гласит ведь так: каким образом твоя жизнь – жизнь отдельного человека – может приобрести высшую ценность и глубочайшее значение? При каких условиях она менее всего растрачивается даром? Разумеется, лишь в том случае, если ты живешь для пользы редчайших и ценнейших экземпляров, а не для пользы большинства, т. е. экземпляров наименее ценных, если брать их поодиночке. И именно этот образ мыслей нужно внедрять и укреплять в каждом молодом человеке, чтобы он смотрел на себя как на неудавшееся произведение природы, но вместе с тем как на свидетельство

величайших и чудеснейших намерений этой художницы; ей не удалось это – должен он сказать себе, – но я хочу почтить ее великое намерение тем, что буду стараться, чтобы когда-либо ей это лучше удалось.

Эта мысль вводит его в круг культуры; ибо культура есть дитя самопознания каждого отдельного человека и его неудовлетворенности самим собой. Каждый верующий в культуру тем самым утверждает: «я вижу над собой нечто более высокое и

человечное, чем я сам; помогите мне все достигнуть этого, как я хочу помочь каждому, кто исполнен того же познания и страдания, – чтобы наконец возник снова человек, который чувствовал бы себя завершенным и бесконечным в познании и любви, в созерцании и действовании, и всем своим целостным существом был бы связан с природой, как судья всех вещей и мерило их ценности». Трудно привести человека в это состояние безбоязненного самопознания, потому что невозможно научить его любви; ибо в одной лишь любви душа находит не только ясный, расчленяющий и полный презрения взгляд на самое себя, но и жажду заглянуть за пределы самого себя и всеми силами искать свое скрытое где-то высшее «я». Итак, лишь тот, кто отдал свое сердце какому-нибудь великому человеку, получает в силу этого свое первое культурное посвящение: его знаком служит самопристыжение без озлобления, ненависть к собственной узости и связанности, сочувствие гению, который всегда вырывался из этой нашей спертой и сухой атмосферы, предчувствие будущности всего развивающегося и борющегося и глубочайшее убеждение, что почти всюду видишь природу в нужде, видишь, как она влечется к человеку, как болезненно она чувствует постоянную неудачу своего дела и как ей все же везде удаются чудеснейшие зачатки, черты и формы; так что люди, среди которых мы живем, походят на нагроможденные обломки драгоценнейших художественных эскизов, где все взывает к нам: придите, помогите, завершите, соедините, что принадлежит к одному целому, – мы беспредельно стремимся стать целыми.

Эту совокупность внутренних состояний я назвал первым культурным посвящением; теперь же мне предстоит изобразить действие второго посвящения, и я хорошо сознаю, что здесь моя задача труднее. Ибо здесь должен совершиться переход от внутренних событий к оценке внешних событий, взор должен обратиться вовне, чтобы найти в великом подвижном мире то же влечение к культуре, которое ему известно из описанного уже первого опыта; личность должна использовать свою борьбу и свое стремление, как азбуку, с помощью которой она может теперь вычитать смысл человеческих влечений. Но и здесь она не может остановиться, от этой ступени она должна подняться на еще более высокие; культура требует от нее не только этого внутреннего переживания, не только оценки окружающего его потока внешнего мира, но и, кроме того и прежде всего, действия, т. е. борьбы за культуру и вражды против влияний, привычек, законов и учреждений, в которых она не может узнать своей цели – созидания гения.

Того, кто способен стать на эту вторую ступень, прежде всего

поражает, как необычайно мало и редко знание этой цели, как всеобще, наоборот, стремление к культуре и как велика масса сил, затрачиваемая на служение ей. В изумлении спрашиваешь себя: быть может, такое знание совсем не нужно? Быть может, природа достигает своей цели и тогда, когда большинство неправильно определяет цель своих собственных усилий? Кто привык придавать большое значение бессознательной целесообразности природы, не затруднится, вероятно, ответить: «Да так оно и есть! Пусть люди думают и говорят о своей конечной цели, что хотят, они все же в своем темном влечении хорошо сознают верный путь». Чтобы уметь возразить на это, нужно кое-что пережить; но кто действительно убежден в этой цели культуры, т. е. в том, что она должна служить возникновению истинных людей и ни чему иному, и затем обратить внимание на то, как еще теперь, несмотря на весь роскошный показной вид культуры, возникновение таких людей немногим отличается от длительного истязания животных, – тот найдет весьма нужным, чтобы на место этого «темного влечения» было, наконец, поставлено сознательное хотение. И это в особенности еще по другому основанию: именно, чтобы была уничтожена возможность пользоваться для совсем иных целей этим несознающим своей цели стремлением, этим прославленным темным влечением, и вести его на пути, где никогда не может быть достигнута указанная высшая задача – создание гения. Ибо существует род эксплуатируемой и взятой в услужение культуры – оглянитесь вокруг себя! И именно те силы, которые деятельнее всего поддерживают культуру, питают при этом задние мысли, и их общение с ней лишено чистого и бескорыстного настроения.

Тут прежде всего мы видим эгоизм приобретателей, который нуждается в содействии культуры и в свою очередь оказывает ей поддержку, но вместе с тем хотел бы предписать ей цель и меру. Отсюда исходит то излюбленное суждение и та цепь заключений, которые гласят приблизительно так: максимум знания и образования, следовательно, максимум потребности, следовательно, максимум производства, следовательно, максимум прибыли и счастья, – такова эта соблазнительная формула. Образование ее сторонники могли бы определить как знание, с помощью которого становишься в потребностях и их удовлетворении насквозь своевременным, но вместе с тем лучше всего владеешь средствами и путями, чтобы как можно легче добывать деньги. Итак, цель состоит в том, чтобы создать как можно больше ходячих людей, в том смысле, в каком мы называем ходячей монету; и, согласно этому воззрению, народ

будет тем счастливее, чем больше в нем будет таких ходячих людей. Поэтому безусловной задачей современных образовательных учреждений должно быть – помогать каждому стать ходячим, насколько это возможно по его природе, развить каждого так, чтобы присущая ему степень постижения и знания давала возможно большую меру счастья и прибыли. Личность должна – так гласит требование – с помощью такого общего образования уметь точно расценивать себя, чтобы знать, что она может требовать от жизни; и в заключение утверждают, что существует естественный и необходимый союз между «интеллигентностью и зажиточностью», между «богатством и культурой», – более того, что этот союз есть нравственная необходимость. Здесь ненавистно всякое образование, которое делает одиноким, которое ставит цели за пределами денег и дохода и связано с потерей большого количества времени; такие более серьезные виды образования обыкновенно обзывают презрительным именем «утонченного эгоизма», «безнравственного эпикурейского наслаждения культурой». Конечно, с точки зрения нравственности, признаваемой этими кругами, ценно прямо противоположное, именно быстрое образование, чтобы поскорее стать существом, приобретающим деньги, но вместе с тем основательное образование, дающее возможность зарабатывать очень много денег. Человеку дозволяется лишь такое количество культуры, какое нужно в интересах общей доходности и мирового хозяйства, но это количество от него и требуется. Словом: «человек имеет необходимое притязание на земное счастье, – поэтому необходима культура, но только поэтому!»

Тут, во-вторых, эгоизм государства, который тоже хочет возможно большего расширения и распространения культуры и имеет в своих руках самые могущественные орудия, чтобы удовлетворить свои желания. При условии, что государство сознает себя достаточно сильным, чтобы уметь не только расковывать, но и вовремя запрягать в ярмо, при условии, что его фундамент достаточно широк и прочен, чтобы выдерживать все здание культуры, – распространение образования среди его граждан всегда идет на пользу лишь ему самому, в его соперничестве с другими государствами. Всюду, где теперь говорят о «культурном государстве», его задачей считают освободить духовные силы определенного поколения настолько, чтобы оно могло служить и оказывать помощь существующему порядку, – но и только в этой мере; подобно тому, как лесной ручей частично отводится плотинами, чтобы его уменьшенная сила могла двигать мельницы – тогда как его полная сила была

бы скорее опасна, чем полезна для мельницы. Освобождать – значит здесь вместе с тем и еще в гораздо большей мере заковывать в цепи. Стоит вспомнить лишь о том, что стало постепенно из христианства под влиянием государственного эгоизма! Христианство есть несомненно одно из чистейших проявлений описанного влечения к культуре и притом именно к непрерывному созиданию святого; но так как оно в тысяче отношений было использовано для того, чтобы вертеть мельницы государственной власти, оно постепенно стало больным до мозга костей, лицемерным и лживым и выродилось до противоречия со своей первоначальной целью. Даже его последнее событие – немецкая реформация – было бы одной внезапной и мимолетной вспышкой, если бы оно не заимствовало незаконно новых сил и нового пламени из возгоравшегося пожара государственной борьбы.

В-третьих, культура поощряется всеми, кто сознает безобразное или скучное содержание жизни и хочет прикрыть его так называемой «прекрасной формой». С помощью внешности, с помощью слов, жестов, украшений, пышности, манерности наблюдатель должен быть приведен к ложному заключению о содержании – в предположении, что о внутренней стороне обычно судят по внешней. Мне иногда кажется, что современные люди наводят друг на друга безграничную скуку, так что находят, наконец, необходимым сделать себя интересным с помощью всякого рода искусств. И вот они заставляют своих художников изготовлять из самих себя пикантное и острое блюдо; они обливают себя пряностями всего востока и запада – и, конечно, теперь они пахнут весьма интересно, всем востоком и западом. Они устраиваются так, чтобы удовлетворять всякому вкусу; и каждый должен получить угощение, хочется ли ему благоухания или зловония, утонченности или мужицкой грубости, греческого или китайского духа, трагедий или драматизованных непристойностей. Знаменитейшие повара этих современных людей, которые во что бы то ни стало хотят быть интересными и чувствовать интерес, находятся, как известно, у французов, худшие – у немцев. Это для последних, в сущности, утешительнее, чем для первых, и мы ничуть не обижаемся на французов, если они насмехаются над нами за недостаток в нас интересного и элегантного, и если, глядя на стремление отдельных немцев к элегантности и манерам, они вспоминают индейца, который хочет иметь кольцо в носу и вопиет, чтобы его татуировали.

И здесь ничто не мешает мне уклониться в сторону. Со времени последней войны с Францией многое в Германии

изменилось и переместилось, и ясно, что мы принесли домой, между прочим, и некоторые новые желания относительно немецкой культуры. Эта война была для многих первым путешествием в более элегантную часть света; и как восхитительно кажется беспристрастие победителя, когда он не стыдится научиться культуре у побежденного! В особенности художественному ремеслу неоднократно указывают на необходимость соперничества с более образованным соседом, устройство немецкого дома должно стать похожим на устройство французского, и даже немецкий язык должен, при содействии основанной на французский образец академии, усвоить себе «здоровый вкус» и отделаться от сомнительного влияния, оказанного на него Гёте, – как это совсем недавно высказал берлинский академик Дюбуа-Реймон. Наши театры уже давно тихо и почтенно стремятся к той же цели, и даже элегантный немецкий ученый уже найден – и тут, конечно, следует ожидать, что все, что доселе не могло как следует подчиниться этому закону элегантности, – немецкая музыка, трагедия и философия – будет отныне признано не немецким и отброшено в сторону. Но поистине, не стоило бы двинуть пальцем ради немецкой культуры, если бы немец понимал под культурой, которой ему еще недостает и о которой он должен теперь думать, только искусства и манеры, способные сделать жизнь миловидной, включая сюда всю изобретательность танцмейстеров и обойщиков, – если бы и в языке он хотел заботиться лишь об одобренных академией правилах и о некоторой введенной во всеобщее употребление манерности. Более высоких притязаний последняя война и личное сравнение с французами, по-видимому, не возбудили; напротив, меня часто берет подозрение, что немец хотел бы теперь насильственно освободиться от тех старых обязанностей, которые на него возлагают его удивительные дарования, своеобразная меланхолия и глубокомыслие его натуры. Он хотел бы охотнее начать скоморошничать, быть обезьяной, учиться манерам и искусствам, которые делают жизнь занимательной. Но нельзя вообще возвести на немецкий дух большую хулу, чем трактуя его так, как будто он сделан из воска, так что в один прекрасный день к нему можно прилепить и элегантность. И если, к сожалению, верно, что добрая часть немцев охотно готова давать лепить и формировать себя, то в ответ на это надо говорить так часто, пока это не будет услышано: в вас совсем уже не живет та старая немецкая порода, которая, правда, жестка, тверда и полна противодействия, но именно потому, что она есть драгоценнейший материал, над которым могут работать лишь величайшие мастера, ибо они одни его

достойны. Напротив, то, что составляет вас, есть размягченный и разжиженный материал; делайте из него что хотите, лепите элегантных кукол и интересных идолов, – и на этом оправдаются слова Рихарда Вагнера: «Немец угловат и неуклюж, когда он хочет казаться изысканным; но он становится возвышенным и превосходит всех, когда запылает огнем». И элегантные люди имеют все основания опасаться этого немецкого огня – иначе он может их как-нибудь пожрать вместе со всеми их восковыми куклами и идолами. Впрочем, можно было бы найти еще иной и более глубокий источник этой распространяющейся в Германии склонности к «прекрасной форме»: это – та суета, то, захватывающее дух, улавливание момента, та чрезмерная спешка, которая срывает все вещи еще недозрелыми с ветвей, та погоня и скачка, которая проводит ныне борозды по лицу людей и как бы татуирует все, что они делают. Они несутся вперед с неприличной озабоченностью, как будто в них действует какое-то зелье, не дающее им спокойно дышать, – гонимые рабы трех «м» – момента, мнений и моды; так что отсутствие достоинства и благоприличия действительно бросается в глаза уже слишком мучительно и становится необходимой лживая элегантность, чтобы замаскировать болезненность этой недостойной спешки. Такова именно связь между модной жадностью к прекрасной форме и безобразным содержанием нынешних людей: первая должна скрывать, последнее должно быть скрыто. Быть образованным означает ныне: не давать заметить, как жалок и дурен современный человек, как он хищен в своих стремлениях, как ненасытен в накоплении, как своекорыстен и бесстыден в наслаждении. Мне уже неоднократно возражали, когда я воочию показывал кому-либо отсутсвие немецкой культуры: «Но ведь это отсутствие совершенно естественно, потому что немцы были до сих пор слишком бедны и скромны. Дайте нашим согражданам стать сперва богатыми и гордыми самими собой, тогда они будут иметь и культуру!» Пусть вера дает блаженство, этот род веры делает меня несчастным, ибо я чувствую, что та немецкая культура, о которой здесь мечтают, – культура богатства, внешней отделки и манерного актерства – есть враждебнейший противообраз той немецкой культуры, в которую верю я. Конечно, кому приходится жить среди немцев, тот сильно страдает от пресловутой серости их жизни и их чувств, от бесформенности, тупоумия и тяжкодумства, от неуклюжести в более тонких отношениях, а еще более – от завистливости и некоторой скрытности и нечистоты характера; тяжела и оскорбительна вкоренившаяся любовь к ложному и поддельному, к плохим подражаниям, к неудачным пересадкам хороших иностранных

вещей на родную почву; теперь же, когда еще присоединилось худшее зло – лихорадочное беспокойство, погоня за успехом и добычей и переоценка момента, – вызывает величайшее негодование мысль, что все эти болезни и слабости никогда не будут в корне излечены, а всегда лишь будут закрашиваться – подобной «культурой интересной формы»!» И это – у народа, который создал Шопенгауэра и Вагнера! И еще часто должен создавать! Или, может быть, мы безнадежно обманываемся? Может быть, эти гении совсем не представляют ручательства, что подобные же силы действительно присущи немецкому духу и уму? Может быть, они сами – только исключение, как бы последние отроги и отводки качеств, которые некогда считались немецкими? Я не могу решить этого вопроса и потому возвращаюсь к пути общего размышления, от которого слишком часто отвлекают меня тревожные сомнения. Еще не все силы были перечислены, которые хотя и содействуют культуре, но не признают ее цели – создания гения; я назвал три из них – эгоизм приобретателей, эгоизм государства и эгоизм всех, кто имеет основание скрываться и прятаться под внешней формой. Я называю, в-четвертых, эгоизм науки и своеобразную сущность ее служителей – ученых.

Наука относится к мудрости, как добродетельность к жажде святости: она холодна и суха, не имеет любви и ничего не знает о глубоком чувстве неудовлетворенности и тоскующего стремления. Она столь же полезна самой себе, сколь вредна своим служителям, поскольку она переносит на них свой собственный характер и тем мертвит их человечность. Пока под культурой разумеют, главным образом, содействие, она проходит с беспощадной холодностью мимо великого страдающего человека, потому что наука видит всюду лишь проблему познания

и потому что в пределах ее мира страдание в собственном смысле есть нечто недопустимое и непонятное, т. е. в лучшем смысле опять-таки лишь проблема.

Но когда человек приучается превращать каждый опыт в диалектическую игру вопросов и ответов и в чисто головное дело, то изумительно, как скоро он засыхает в подобной деятельности и едва ли не превращается в стучащий костями скелет. Каждый знает и видит это; каким же образом случается, что юноши тем не менее нисколько не пугаются таких скелетов и постоянно сызнова слепо, безвольно и безмерно отдаются наукам? Ведь это не может проистекать из мнимого «влечения к истине»; ибо как вообще могло бы существовать влечение к холодному, чистому, бесплодному познанию? Напротив, непредубежденный взор вполне ясно может усмотреть, каковы подлинные движущие силы в служителях науки; и следует посоветовать начать наконец исследовать и анатомировать ученых, после того как они сами приучились дерзко ощупывать и разлагать все на свете, в том числе и высшие святыни. Если говорить вполне откровенно, то мое суждение гласит: ученый состоит из сложного сплетения весьма различных побуждений и импульсов; он – безусловно, нечистый металл. Возьмите прежде всего сильную и все растущую жажду новизны, искание познавательных авантюр, непрерывно действующую силу нового и редкого в противоположность старому и скучному. Присоедините к этому некоторый инстинкт диалектической игры и выслеживания, охотничью любовь к лукавым обходам мысли, так что собственно ищут не истину, а само искание, и главное наслаждение состоит в том, чтобы хитро прокрадываться, окружать и умерщвлять по правилам искусства. Сюда привступает еще страсть к противоречию: личность хочет чувствовать себя отличной от всех других и давать себя чувствовать другим; борьба становится удовольствием, и личная победа – целью, тогда как борьба за истину есть только предлог. Далее ученому в значительной мере присуща склонность открывать некоторые «истины», именно из покорности к известным господствующим лицам, кастам, мнениям, церквам, правительствам, ибо он чувствует, что приносит себе пользу, приводя «истину» на их сторону. Менее постоянно, но все же довольно часто ученый обнаруживает следующие качества. Во-первых, прямодушие и любовь к простоте – весьма ценные свойства, если они не сводятся к одной лишь неловкости и неопытности в симуляции, для которой ведь требуется некоторое остроумие. И действительно, всюду, где особенно бросаются в глаза остроумие и ловкость, нужно немного остерегаться и подвергать сомнению прямоту характера. С другой стороны, это

прямодушие по большей части немногого стоит и лишь редко приносит пользу даже наукам, потому что оно ограничивается областью привычного и склонно говорить истину лишь относительно простых или безразличных вещей, ибо здесь инертности более соответствует говорить истину, чем ее умалчивать. И так как все новое заставляет людей переучиваться, то прямодушие почитает, насколько это возможно, старое мнение и упрекает возвестителя нового в том, что ему недостает *sensus recti*. Оно сопротивлялось учению Коперника несомненно потому, что имело здесь за себя наглядную видимость и привычку. Нередкая у ученых ненависть к философии есть прежде всего ненависть к длинным цепям умозаключений и к искусственности доказательств. В сущности даже каждое поколение ученых имеет естественную меру дозволенной пытливости; что выходит за эти пределы, подвергается сомнению и служит почти основанием, чтобы заподозрить прямодушие. Во-вторых, острота зрения вблизи, соединенная с сильной близорукостью в отношении далекого и общего. Поле зрения ученого обыкновенно очень невелико, и он должен приближать глаза вплотную к предмету. Если ученый хочет перейти от одной исследованной точки к другой, то он должен передвинуть весь зрительный аппарат к этой точке. Он разлагает картину на отдельные пятна, подобно человеку, который пользуется биноклем, чтобы смотреть на сцену, и видит то голову, то кусок платья, но никогда ничего целого. Эти отдельные пятна он никогда не видит в их соединении, а лишь заключает об их связи, поэтому общее не производит на него сильного впечатления. Он оценивает, например, произведение по его отдельным частям, или положениям, или ошибкам, не будучи в состоянии обозреть его в целом; он мог бы утверждать, что картина, написанная масляными красками, есть дикая куча мазков. В-третьих, трезвенность и обыденность его натуры во всех ее склонностях и антипатиях. Это свойство особенно помогает ему в истории, поскольку он выслеживает мотивы прошедших людей по знакомым ему мотивам. Норка крота – самое подходящее для крота место. Он защищен от всех искусственных и широко захватывающих гипотез; при упорстве он раскапывает все обыденные мотивы прошлого, потому что чувствует их близкими себе. Правда, именно поэтому он по большей части не способен понимать и ценить редкое, великое и необычное, т. е. важное и существенное. В-четвертых, бедность чувством и сухость. Она делает его способным даже к вивисекциям. Он не чует страдание, которое часто несет с собой познание, и потому не чувствует страха в областях, где у других людей содрогается сердце. Он

холоден и потому легко кажется жестоким. Его считают также смелым, но он не смел, – как нельзя назвать смелым мула, который не знает головокружения. В-пятых, низкая самооценка, скромность. Осужденные жить в жалком углу, они не чувствуют, что приносят себя в жертву и растрачивают себя; они, по-видимому, в глубине души знают, что они – животные пресмыкающиеся, а не летающие. Это качество придает им даже трогательность. В-шестых, верность своим учителям и вождям. Им они хотят помочь от всей души и хорошо знают, что лучше всего помогут им истиной. Они благодарны своим учителям, потому что получили через их посредство доступ в величественные хоромы науки, куда они никогда не пришли бы на собственном пути. Кто в настоящее время умеет быть учителем и открыть новую область, в которой посредственные умы могут работать с некоторым успехом, тот сейчас же становится знаменитым человеком: так велик прилетающий к нему рой. Правда, каждый из этих верных и благодарных есть вместе с тем беда для учителя, так как все они подражают ему, и именно его недостатки кажутся чрезмерно большими и преувеличенными, выступая на таких маленьких людях, тогда как, наоборот, достоинства учителя представлены в этих людях соответственно уменьшенными. В-седьмых, привычное шествование по пути, на который ученого толкнули, любовь к истине, основанная на безмыслии, в силу раз принятой привычки. Такие натуры суть собиратели, объяснители, составители гербариев и указателей; они учатся и ищут в пределах данной области просто потому, что никогда не думали, что есть еще другие области. В их трудолюбии есть что-то, напоминающее чудовищную глупость силы тяготения; и потому они часто многое осуществляют. В-восьмых, бегство от скуки. Тогда как подлинный мыслитель ни к чему так не стремится, как к досугу, обычный ученый бежит от досуга, потому что не знает, что с ним начать. Его утешители – книги, т. е. он слушает, как мыслит другой, и это занятие сокращает ему долгий день. В особенности он выбирает книги, которыми как-нибудь возбуждается его личное участие, где он может, в силу симпатии или антипатии, перейти в некоторое состояние аффекта, т. е. книги, в которых подвергается рассмотрению он сам или его сословие, его политическое, или эстетическое, или даже лишь грамматическое мнение; а если у него есть собственная наука, то у него никогда нет недостатка в средствах развлечения и всегда есть возможность прогнать скуку убиванием мух. В-девятых, мотив хлебного заработка, т. е., в сущности, знаменитые «борборигмы больного желудка». Истине служат, когда она в состоянии доставлять жалованье и лучшие места, или, по крайней мере,

приобретать расположение тех, в чьих руках – насущный хлеб и почет. Но и только этой истине служат: благодаря чему можно провести границу между полезными истинами, которым служат многие, и истинами бесполезными; последним же отдаются лишь немногие, те, к кому неприменимы слова: *ingenii largitor venter*. В-десятых, почтение перед другими учеными, боязнь их неодобрения; более редкий, но более высокий мотив, чем предыдущий, – впрочем, тоже весьма распространенный. Все члены цеха ревниво следят друг за другом и озабочены, чтобы истина, от которой зависит так много – пропитание, должность, почесть, – была действительно окрещена именем того, кто ее открыл. Человеку, открывшему истину, стараются отдать должный почет, чтобы требовать того же для себя на случай, если сам когда-нибудь откроешь истину. Ложь и заблуждение разрушают с громким треском, чтобы число конкурентов не было слишком велико; но иногда так же громко разрушают подлинную истину, чтобы по крайней мере на короткое время открыть простор для упорных и дерзких заблуждений; ведь нигде, а следовательно, и здесь, нет недостатка в «моральных идиотизмах», которые обычно зовутся мошенничествами. В-одиннадцатых, ученый из тщеславия, уже более редкая разновидность. Он по возможности хочет иметь в своем исключительном распоряжении отдельную область и потому выбирает всякого рода редкости, в особенности, если они требуют исключительных расходов, путешествий, раскопок, многочисленных связей в различных странах. Он удовлетворяется по большей части честью быть самому редкостным явлением и не думает зарабатывать себе хлеб своими учеными занятиями. В-двенадцатых, ученый из инстинкта игры. Его забава состоит в том, чтобы отыскивать узелки в науках и распутывать их; он стремится при этом не слишком напрягаться, чтобы не потерять чувства игры. Поэтому он и не заходит слишком глубоко, но часто воспринимает то, чего никогда не видит цеховой ученый своим тяжело ползущим взором. Если я, наконец, в-тринадцатых, укажу на влечение к справедливости как на мотив ученого, то мне могут возразить, что это благородное влечение, имеющее уже метафизический смысл, слишком трудно отличить от других мотивов и что оно, в сущности, неуловимо и неопределимо для человеческого взора; итак, я присоединяю этот последний пункт с благочестивым пожеланием, чтобы это влечение встречалось среди ученых чаще и было могущественнее, чем о том свидетельствует видимость. Ибо даже одна искра огня справедливости, запав в душу ученого, может осветить и сжечь очищающим пламенем его жизнь и стремление, так что у него

уже не станет покоя и он навсегда будет изгнан из того тепловатого или морозного настроения, в котором обычный ученый выполняет свое ремесло.

Представим себе, что мы смешали и хорошенько взболтали все эти элементы, или большинство, или некоторые из них, – и мы имеем происхождение служителя истины. Весьма любопытно, как здесь, в интересах, в сущности, внечеловеческого и сверхчеловеческого дела, чистого и самодовлеющего, а следовательно, и бесстрастного познания, сливается и входит в химическое соединение множество мелких, весьма человеческих интересов и влечений и как результат этого соединения – ученый – представляется в свете этого небесного, высокого и безусловно чистого дела столь преображенным, что совсем забывается та мешанина, которая нужна для его создания. Но есть моменты, когда приходится думать и напоминать как раз об этом: именно когда речь идет о значении ученого для культуры. Кто умеет наблюдать, тот замечает, что ученый по своему существу неплодотворен – результат его происхождения! – и что он испытывает некоторую исконную ненависть к плодотворным людям, поэтому-то во все времена гении и ученые враждовали между собой. Дело в том, что последние хотят убивать природу, разлагать и постигать ее, первые же хотят обогащать природу новой живой природой; отсюда противоречие в их настроениях и деятельностях. Вполне счастливые эпохи не нуждались в ученом и не знали его, совершенно больные и хмурые эпохи ценили его как высшего и достойнейшего человека и отдавали ему первое место.

Где тот врач, который знал бы, в какой мере наша эпоха здорова или больна? Бесспорно, что и теперь еще в весьма многих отношениях оценка ученого слишком высока и потому действует вредно, в особенности на условия развития гения. Нужды гения не находят отклика в серце ученого, он его отчитывает суровым, холодным голосом и пожимает плечами, как будто встретился с чем-то странным и нелепым, на что у него нет ни времени, ни охоты. У него тоже не найти знания цели культуры.

Что же уяснилось нам вообще из всех этих размышлений? Что всюду, где, по-видимому, теперь живее всего поощряется культура, нет никакого сознания ее цели. Пусть государство громко претендует на заслуги в области культуры – оно поощряет ее только для себя и не понимает цели высшей, чем свое благо и свое существование. Цель желаний приобретателей в их неустанном требовании обучения и образования есть все-таки лишь приобретение. Если нуждающиеся в красивой форме приписывают себе подлинную работу над культурой и, например, полагают, что все искусство принадлежит им и должно служить

их потребностям, то ясно лишь одно: утверждая культуру, они утверждают лишь самих себя: следовательно, и их отношение к культуре основано на недоразумении. Об ученом было сказано достаточно. Сколь усердно все четыре силы совместно размышляют над тем, как им помочь себе при посредстве культуры, столь же вялы и безмысленны они, когда не затронут их интерес. И потому условия возникновения гения не улучшились в новое время, и отвращение к оригинальным людям настолько возросло, что Сократ не мог бы жить у нас и во всяком случае не мог бы дожить до семидесяти лет.

7

Но оставим в стороне все мысли о далеком будущем и о возможном перевороте в деле воспитания; спрашивается, что нужно в настоящее время желать и, в случае надобности, доставлять тому, кто готовится быть философом, чтобы он вообще мог передохнуть и чтобы ему было обеспечено, конечно, не легкое, но все же возможное существование Шопенгауэра? Что, кроме того, нужно было бы изобрести, чтобы сделать более вероятным его воздействие на современников? И какие препятствия должны быть устранены, чтобы прежде всего сделать действительно влиятельным его пример, чтобы философ мог воспитывать философов? Здесь наши размышления входят в область практического и щекотливого.

Природа всегда хочет быть общеполезной, но она не всегда умеет найти для этой цели лучшие и удобнейшие средства и приемы; в этом – ее великое страдание, поэтому она грустна. Что созданием философа и художника она хотела сделать человеку бытие понятным и значительным – это ясно из ее собственного влечения к искуплению; но как неверно, как слабо и бледно действие, которое она в большинстве случаев достигает с помощью философов и художников! Как редко это действие вообще имеет место! Особенно большие затруднения доставляет ей общеполезное применение философа; она подвигается здесь как бы на ощупь и с помощью случайных догадок, так что ее намерения бесчисленное множество раз не удаются и большинство философов не становятся общеполезными. Поведение природы кажется расточительностью, но это – расточительность не от буйной роскоши, а от неопытности; можно предполагать, что, будь она человеком, ее досада на себя и на свою неумелость была бы безгранична. Природа пускает философа, как стрелу, в людей; она не целится, но надеется, что стрела куда-нибудь попадет. При этом она множество раз ошибается и испытывает огорчение. В области культуры она столь же расточительна, как когда сажает и сеет. Своих целей она достигает на один общий и тяжеловесный лад; и при этом она растрачивает слишком много сил. Отношение между художником, с одной стороны, и знатоками и любителями его искусства – с другой, таково же, как отношение между тяжелой артиллерией и несколькими воробьями. Это есть образ действия, свойственный наивному усердию: катить лавину, чтобы сдвинуть немного снегу, убить человека, чтобы согнать муху с его носа. Художник и философ свидетельствуют против целесообразности

средств природы, хотя они представляют блестящее доказательство мудрости ее целей. Они действуют лишь на немногих, а должны действовать на всех; и даже в этих немногих философ и художник попадают не с той силой, с какой они посылают свой заряд. Печально, что приходится столь различно оценивать искусство как причину и искусство как действие! Сколь грандиозно оно как причина и сколь слабо, наподобие тихого отголоска, в своем действии! Нет сомнения, художник созидает свое творение согласно воле природы, для блага других людей; и тем не менее он знает, что никогда уже никто из этих других людей не будет понимать и любить его творение так, как он сам понимает и любит его. Итак, эта высокая и единственная степень любви и понимания, в силу неумелого распоряжения природы, необходима для того, чтобы возникла низшая степень того и другого; более высокое и благородное употреблено как средство для возникновения более ничтожного и низменного. Природа хозяйствует неразумно, ее расходы значительно превышают достигаемый ею доход; при всем своем богатстве она когда-нибудь должна разориться. Она устроилась бы разумнее, если бы руководилась хозяйственным правилом: мало издержек и стократный доход; если бы, например, существовало лишь немного художников, и притом сравнительно несильных, но зато множество воспринимающих и наслаждающихся искусством, и если бы последние имели более сильную и могущественную натуру, чем сами художники, – так, чтобы действие художественного произведения было в сто раз сильнее его самого. Или, по меньшей мере, можно было бы ожидать, что причина и действие будут равносильными; но как мало природа удовлетворяет это ожидание! Часто похоже, что художник, а тем более философ, случай для своей эпохи, что они – отшельники или заблудившиеся путники в чужом обществе. Попробуйте только прочувствовать всей душой, всецело и до конца, как велик Шопенгауэр и как мало, как бессмысленно его влияние! Ничто не может быть постыднее именно для честных людей нашей эпохи, чем видеть, сколь случайным является в ней Шопенгауэр и какие силы и препятствия ослабили его влияние. Сначала и долго ему препятствовало отсутствие читателей – к вечному позору для нашего литературного периода; затем, когда читатели пришли, – неумеренность его первых публичных свидетелей; еще более, мне кажется, отупение всех современных людей в отношении книг, которые они решительно отказываются брать всерьез: постепенно сюда присоединилась еще одна опасность, возникшая из многочисленных попыток приспособить Шопенгауэра к слабосильной эпохе или потреблять его как чужеродную и

заманчивую пряность, как своего рода метафизический перец. Правда, он постепенно стал известен и знаменит, и я думаю, что уже теперь его имя знает большее число людей, чем имя Гегеля; и все же он еще отшельник, все же его действие еще не обнаружилось! Менее всего честь противодействия ему принадлежит его литературным противникам и хулителям, во-первых, потому, что каждого, кто на это способен, они непосредственно приводят к Шопенгауэру, ибо кого же может убедить погонщик ослов не ездить на прекрасном коне, как бы он ни расхваливал своего осла за счет коня?

Но кто понял неразумие в природе нашего времени, тот будет искать средства против него: его задачей будет ознакомить с Шопенгауэром свободные умы и всех, кто глубоко страдает от нашего времени, собрать их, создать из них течение, чтобы с помощью его преодолеть ту неумелость, которую природа обнаружила здесь, как и обычно, при употреблении философа. Такие люди усмотрят, что одни и те же препятствия мешают действию великой философии и преграждают путь созданию великого философа; поэтому они могут определить свою задачу

как подготовку воссоздания Шопенгауэра, т. е. философского гения. Но то, что сопротивлялось с самого начала действию и распространению его учения и что стремится также всеми средствами загубить и это возрождение философа, есть, коротко говоря, вычурность современной человеческой натуры; поэтому все, кто на пути стать великими людьми, должны растратить невероятную силу, чтобы только спасти себя самих от этой вычурности. Мир, в который они теперь вступают, опутан сетью уловок; это – отнюдь не обязательно религиозные догматы, но и такие скользкие понятия, как «прогресс», «общее образование», «национальность», «современное государство», «борьба за культуру»; можно даже сказать, что все общие слова носят теперь на себе искусственное и неестественное одеяние, и поэтому более светлая позднейшая эпоха признает наше время в высшей степени уродливым и искаженным, как бы громко мы ни кичились нашим «здоровьем». Красота античных сосудов, говорит Шопенгауэр, лежит в том, что они так наивно выражают то, для чего они предназначены; и то же применимо ко всей остальной утвари древних: чувствуешь, что если бы природа сама создала вазы, амфоры, лампы, столы, стулья, шлемы, щиты, панцири и прочее, они имели бы именно такой вид. Напротив: кто теперь смотрит, как почти каждый возится с искусством, государством, религией, культурой, – по многим основаниям мы умалчиваем о наших «сосудах», – тот находит у людей некоторую варварскую произвольность и чрезмерность выражений, и развивающемуся гению более всего мешает то, что в его время в ходу такие чудные понятия и такие капризные потребности; это – та свинцовая тяжесть, которая столь часто незаметно и необъяснимо лежит на его руке, когда он ведет свой плуг: и даже величайшие его произведения, насильственно освобождаясь от этого давления, должны до известной степени нести на себе признаки этой насильственности.

Отыскивая условия, с помощью которых в счастливейшем случае прирожденный философ не будет по крайней мере задавлен этой современной вычурностью, я замечаю нечто знаменательное: это – отчасти именно те условия, в которых, в общем и целом, вырос сам Шопенгауэр. Правда, не было недостатка и в противодействующих условиях: так, в лице его тщеславной и изысканной матери ему угрожала близость этой вычурности нашего времени. Но гордый и республикански свободный характер его отца как бы спас его от матери и дал ему первое, что необходимо философу: непоколебимую и суровую мужественность. Отец его не был ни чиновником, ни ученым: он часто путешествовал с юношей по чужим странам – условие,

благоприятствующее тому, кто хочет знать не книги, а людей, и почитать не правительство, а истину. Своевременно он стал нечувствительным к национальным ограниченностям или научился остро сознавать их; он жил в Англии, Франции и Италии, как на родине, и чувствовал немалую симпатию к испанскому духу. В общем он не почитал за особую честь быть рожденным именно среди немцев; и я даже не знаю, переменил ли бы он свое мнение при новых политических условиях. О государстве он, как известно, полагал, что его единственная цель – давать охрану внешнюю, охрану внутреннюю и охрану против охранителей, и что, когда ему приписывают еще иные цели, помимо охраны, это легко может угрожать его истинной цели: поэтому он, к ужасу так называемых либералов, завещал свое имущество вдовам и сиротам тех прусских солдат, которые в 1848 году пали в борьбе за порядок. Вероятно, отныне все более будет признаком духовного превосходства, если кто умеет просто смотреть на государство и его обязанности: ибо у кого есть в душе *furor philosophicus*, у того уже не будет времени для *furor politicus*; и такой человек мудро остережется читать каждый день газеты, а тем более служить какой-либо партии; хотя он ни на мгновение не поколеблется в случае действительной нужды своего отечества быть на своем посту. Все государства, в которых о политике должны заботиться, кроме государственных деятелей, еще другие люди, плохо устроены и заслуживают того, чтобы погибнуть от этого множества политиков.

Другое весьма благоприятное для Шопенгауэра условие состояло в том, что он не сразу был предназначен и воспитан для ученой карьеры, но некоторое время, хотя и с отвращением, работал в купеческой конторе и во всяком случае всю свою юность вдыхал более свежую атмосферу крупного торгового дома. Ученый никогда не может стать философом; даже Кант не смог стать им, а, несмотря на врожденное влечение своего гения, до конца оставался как бы в состоянии неразвернувшейся куколки. Кто думает, что в этих словах я несправедлив к Канту, тот не знает, что такое философ: ибо философ – не только великий мыслитель, но и настоящий человек; а когда же ученый мог стать настоящим человеком? Кто между собою и вещами ставит понятия, мнения, прошедшие времена и книги, т. е. кто в широчайшем смысле слова рожден для истории, тот никогда не увидит вещи впервые и никогда не будет сам такой впервые виданной вещью; у философа же то и другое стоит в связи, так как наибольшее поучение он приобретает из себя самого и так как он служит самому себе копией и сокращенным выражением всего мира. Если же кто созерцает себя в свете чужих мнений, то не

удивительно, что он и в себе не видит ничего, кроме – чужих мнений! И таковы ученые, так они живут и созерцают. Напротив, Шопенгауэр имел неописуемое счастье видеть гения вблизи – не только в себе, но и вне себя, в Гёте; это двойное отражение основательно научило и умудрило его относительно всех ученых целей и культур. Благодаря этому опыту он знал, каким должен быть свободный и сильный человек, к которому стремится всякая художественная культура; мог ли он после того, что он видел, иметь много охоты заниматься так называемым «искусством» по ученой или сверхкритической манере современных людей? Ведь он видел даже нечто еще более высокое: страшную небесную картину суда, в которой вся жизнь, даже высшая и совершенная, была взвешена и найдена слишком легкой; он видел святого, как судью бытия. Невозможно определить, как рано Шопенгауэр узрел эту картину жизни, и притом именно в той форме, в какой он позднее пытался передать ее во всех своих произведениях; можно доказать, что уже юноша – и хотелось бы верить, что уже ребенок – имел это страшное видение. Все, что он позднее усваивал из жизни и книг, из всех областей науки, служило ему почти лишь краской и средством изображения; даже философией Канта он воспользовался прежде всего как исключительным риторическим орудием, с помощью которого, как ему казалось, он мог еще отчетливее высказаться об этой картине; и той же цели у него по временам служила буддистская и христианская мифология. Для него существовала только одна задача и сотни тысяч средств, чтобы разрешить ее; один смысл и бесчисленные иероглифы, чтобы его выразить.

К прекрасным условиям его существования принадлежало то, что он действительно мог жить для такой задачи, согласно его девизу: *vitam impendere vero*, и что его не пригибала никакая подлость, связанная с жизненной нуждой; известно, как горячо он благодарил своего отца именно за это; тогда как в Германии теоретический человек по большей части осуществляет свое научное назначение за счет чистоты своего характера, как «бесцеремонный пройдоха», ищущий мест и почестей, осторожный, гибкий и льстивый в отношении влиятельных лиц и начальников. К сожалению, Шопенгауэр ничем не обидел многочисленных ученых более, чем своим несходством с ними.

Этим указаны некоторые условия, при которых философский гений в наше время может по крайней мере возникнуть, несмотря на вредные противодействия: свободная мужественность характера, раннее знание людей, отсутствие ученого воспитания, патриотической узости, нужды зарабатывать хлеб и связи с государством, – словом, свобода и опять свобода: та дивная и опасная стихия, в которой дано было возрости греческим философам. Кто захочет упрекнуть его в том, в чем Нибур упрекал Платона, – именно, что он был плохим гражданином, тот пусть упрекает; он будет прав – и Платон также. Другой увидит в этой великой свободе самопревознесение; он также будет прав, ибо он сам не мог бы ничего поделать с такой свободой, и несомненно весьма превознес бы себя, если бы желал ее для себя. Эта свобода есть действительно великая вина; и лишь великими делами ее можно искупить. Поистине, всякий средний сын земли имеет право смотреть с озлоблением на такое привилегированное существо; пусть только сохранит его Бог от этой привилегии, которая равносильна ужасной обязанности. Ведь он бы тотчас же погиб от своей свободы и своего одиночества и стал бы глупцом, – злостным глупцом от скуки.

Быть может, тот или иной отец будет в состоянии научиться чему-либо из вышесказанного и сделать какое-либо практическое применение в отношении домашнего воспитания своего сына; хотя поистине нельзя ожидать, чтобы отцы захотели иметь сыновьями непременно философов. Вероятно, во все времена отцы восставали против философствования своих сыновей, как против величайшей причуды; как известно, Сократ пал жертвой гнева отцов за «развращение юношества», и Платон по тем же основаниям считал необходимым создание совершенно нового государства, чтобы не ставить возникновение философов в зависимость от неразумия отцов. И почти похоже на то, как будто Платон действительно чего-то достиг. Ибо современное государство причисляет содействие философии к своим задачам и стремится во всякое время осчастливить известное число людей той «свободой», в которой мы видим самое существенное условие для возникновения философа. Но с Платоном в истории приключилось странное несчастье: как только когда-либо возникало создание, которое в существенных чертах соответствовало его предложениям, оно оказывалось при ближайшем рассмотрении подмененным детенышем кобольда, безобразным подкидышем – каким было, например,

средневековое жреческое государство по сравнению с тем владычеством «сыновей богов», о котором мечтал Платон. Современное государство, правда, бесконечно далеко от мысли сделать властителями именно философов – и слава богу! – прибавит каждый христианин; но нужно наконец рассмотреть, соответствует ли даже содействие философии, как оно его понимает, платоновскому духу, я хочу сказать: настолько ли это содействие серьезно и искренно, как если бы его целью было созидание новых Платонов. Если обычно философ кажется случайным в своей эпохе, то действительно ли государство ставит себе теперь задачу сознательно превратить эту случайность в необходимость, т. е. и в этом отношении помочь природе?

К сожалению, опыт свидетельствует нам об ином; он говорит, что ничто так не препятствует созиданию и размножению великих философов милостью природы, как плохие философы милостью государства. Щекотливая тема, не правда ли? – та самая тема, на которую, как известно, впервые обратил внимание Шопенгауэр в своем знаменитом трактате об университетской философии. Я возвращаюсь к этому предмету, ибо надо заставить людей относиться к нему серьезно, т. е. действенно реагировать на него, и я считаю бесполезным каждое написанное слово, за которым не стоит такой призыв к действию; во всяком случае полезно снова демонстрировать вечно справедливые суждения Шопенгауэра, и притом прямо в отношении к нашим ближайшим современникам, ибо добродушные люди могут подумать, что со времени его тяжких обвинений все в Германии переменилось к лучшему. Его дело не доведено до конца даже и в этом пункте, как бы ничтожен он не был.

При ближайшем рассмотрении эта «свобода», которой государство ныне, как я сказал, хочет осчастливить некоторых людей ко благу философии, оказывается вообще не свободой, а должностью, которая кормит приставленного к ней человека. Содействие философии состоит, следовательно, лишь в том, что государство в настоящее время дает возможность по крайней мере нескольким людям жить с помощью их философии, благодаря тому, что они могут делать из нее хлебный заработок; тогда как старые мудрецы Греции не состояли на жаловании у государства, а разве только получали от него в почетный дар, как Зенон, золотой венец и гробницу на Керамике. Полезно ли для истины, когда указывают путь, на котором она может служить источником дохода, на это я не могу дать общего ответа, ибо здесь все зависит от свойств и годности отдельного человека, которому открывают этот путь. Я легко могу себе представить такую степень гордости и самоуважения, при которой человек

говорит своим ближним: заботьтесь вы обо мне, – у меня есть более существенное дело – именно забота о вас. У Платона и Шопенгауэра такая высота настроения и его выражения не удивила бы нас; и потому именно они могли бы быть даже университетскими философами (Платон и бывал временами придворным философом), не унижая достоинства философии. Но уже Кант был, как обычно бывает наш брат ученый, осторожным, покорным и лишенным величия в своем отношении к государству; так что он во всяком случае не мог бы оправдать университетскую философию, если бы она когда-либо была обвинена. Но если есть натуры, которые могли бы ее оправдать – именно натуры в роде Шопенгауэра и Платона, – то я боюсь одного: они никогда не будут иметь повода к тому, ибо никогда государство не осмелится покровительствовать таким людям и принимать их на такие должности. Почему именно? Потому что каждое государство боится их и всегда будет покровительствовать лишь тем философам, которых оно не боится. Дело в том, что иногда государство вообще боится философии, и именно в этом случае оно тем более будет стремиться привлекать к себе философов, чтобы иметь вид, как будто на его стороне философия, так как на его стороне эти люди, которые носят ее имя, и все же совсем не страшны. Но если бы нашелся человек, который действительно обнаружил бы намерение подходить с ножом истины ко всему, и в том числе к государству, то государство, так как оно прежде всего заботится о своем существовании, в праве освободиться от такого человека и относиться к нему как к своему врагу; подобно тому, как оно исключает и гонит религию, которая ставит себя выше его и хочет быть его судьей. Итак, если кто согласен быть философом милостью государства, то он должен также согласиться, чтобы на него смотрели, как будто он отказался выслеживать истину во всех потаенных уголках. По крайней мере пока ему покровительствуют и он занимает должность, он должен признавать над истиной еще нечто высшее – именно государство; и не одно лишь государство, а вместе с тем и все, что нужно для блага государства: например, известную форму религии, общественного устройства, военной службы – на всех таких вещах написано «не тронь меня». Уяснил ли себе когда-либо университетский философ весь объем своего обязательства и самоограничения? Я не знаю этого; но если он уяснил себе это и все же остался чиновником, то он во всяком случае был плохим другом истины; если же он никогда не уяснил себе этого – ну, я думаю, и тогда его нельзя назвать другом истины.

Таково наиболее общее сомнение: впрочем, будучи наиболее общим, оно для современных людей – наиболее слабое и безразличное. Большинство удовлетворится пожиманием плеч и словами: «Как будто что-либо великое и чистое вообще могло существовать и укрепиться на этом свете, не делая уступок человеческой низости! Или вы хотите, чтобы государство лучше преследовало философов, чем вознаграждало их и брало в услужение?» Не отвечая сейчас на этот последний вопрос, я прибавляю еще, что уступки, которые философия делает

государству, идут в настоящее время весьма далеко. Во-первых: государство выбирает себе своих философских слуг, и притом столько, сколько ему нужно для его учебных заведений; оно ведет себя, следовательно, так, как будто может различать между хорошими и плохими философами, более того, оно предполагает, что всегда должно быть достаточно хороших, чтобы занять все его кафедры. Не только в отношении достоинства философов, но и в отношении необходимого числа их государство есть теперь авторитет. Во-вторых: оно принуждает тех, кого оно избрало, жить в определенном месте, среди определенных людей и заниматься определенной деятельностью: они должны обучать каждого юношу-студента, который имеет к тому охоту, и притом ежедневно в назначенные часы. Я спрашиваю: может ли философ добросовестно обязаться иметь ежедневно что-либо, чему он мог бы учить? И притом учить каждого, кто хочет слушать? Не должен ли он в таком случае напускать на себя вид, будто знает больше, чем он действительно знает? Не должен ли он говорить перед неизвестной аудиторией о вещах, о которых он мог бы безопасно говорить только с ближайшими друзьями? И вообще, не лишает ли он себя тем своей высшей свободы – возможности следовать за своим гением, когда и куда он его зовет, – обязанный в определенные часы публично мыслить о наперед назначенных темах? И это – перед юношами! Разве подобное мышление, так сказать, не оскоплено уже заранее? А что, если он в один прекрасный день почувствует: сегодня я не могу мыслить, мне не приходит в голову ничего умного? – и все-таки он должен был бы идти и симулировать мысль!

Но – возразят на это – он ведь совсем не должен быть мыслителем, а в лучшем случае лишь размышляющим и обдумывающим человеком, и прежде всего – ученым знатоком всех прежних мыслителей; о них-то он всегда сможет рассказать что-нибудь, чего не знают его ученики. Это есть третья, в высшей степени опасная уступка государству со стороны философии, когда она обязывается выступать по преимуществу и главным образом как ученость. Прежде всего, как знание истории философии; тогда как для гения, который с чистотой и любовью взирает на вещи, подобно поэту, и не может вложить себя в них достаточно глубоко, рыться в многочисленных чужих и извращенных мнениях есть едва ли не самое отвратительное и неуместное занятие. Ученое историческое знание прошлого никогда не было делом подлинных философов, ни в Индии, ни в Греции; и если профессор философии занимается подобной работой, он должен примириться с тем, что о нем, в лучшем случае, скажут: он – дельный филолог, антикварий, лингвист,

историк, но никогда не скажут: он – философ. Да и первое, повторяю, лишь в лучшем случае: ибо в отношении большинства ученых работ, которые делают университетские философы, филолог испытывает чувство, что они сделаны плохо, без научной строгости и в большинстве случаев отвратительно скучно. Кто освободит, например, историю греческих философов от того усыпительного тумана, который в ней распространили ученые, но не слишком научные и, к сожалению, слишком скучные работы Риттера, Брандиса и Целлера? Я, по, крайней мере, читаю Лаэрция Диогена охотнее, чем Целлера, ибо в первом, по крайней мере, живет дух древних философов, в последнем же – ни этот дух, ни какой-либо иной. И, наконец, самое главное: к чему нашим юношам история философии? Должен ли хаос мнений лишить их мужества иметь мнения? Или их нужно обучить участвовать в хоре, прославляющем торжество прогресса в наше время? Или, наконец, они должны научиться ненавидеть или презирать философию? Можно почти допустить последнее, когда знаешь, как студенты должны терзать себя из-за философских экзаменов, чтобы втиснуть в свои бедный мозг, наряду с величайшими и труднейшими идеями человеческого духа, нелепейшие и самые путанные выдумки. Единственная критика философии, которая возможна и которая действительно что-либо доказывает, – именно попытаться, можно ли жить согласно ее учению, – никогда не преподается в университетах, а всегда лишь словесная критика слов. И теперь представьте себе юношескую голову, не имеющую большого жизненного опыта, в которой сохраняются одновременно и в беспорядке пятьдесят словесных систем и пятьдесят их критик, – какое опустошение, какое одичание, какая насмешка над философским воспитанием! И действительно, в университетах, как это всем признано, подготовляют не к философии, а к философскому экзамену, и обычный, знакомый результат его сводится к тому, что испытуемый – увы! слишком испытуемый – со вздохом признается: «Слава богу, что я не философ, а христианин и гражданин своего государства!»

А что, если этот вздох и есть цель государства, и «философское воспитание» есть не что иное, как отвлечение от философии? Подумайте об этом! Но если бы это было так, то надо бояться лишь одного: что юношество наконец когда-нибудь догадается, для чего здесь собственно эксплуатируется философия. Высшая цель, создание философского гения есть только предлог? А цель, может быть, именно предупредить его возникновение? Идеальный смысл превращен в свою противоположность? Ну, тогда – горе всему этому миру

государственной и профессорской мудрости!

И, может быть, что-либо подобное уже чуется? Я не знаю; во всяком случае университетская философия стала предметом всеобщего презрения и недоверия. Последнее стоит отчасти в связи с тем, что как раз теперь на кафедрах господствует слабая порода; и если бы Шопенгауэр теперь писал свой трактат об университетской философии, он обошелся бы без дубины, а мог бы победить легкой тростью. Это – наследники и потомки тех уродливых мыслителей, по бестолковым головам которых он бил: они кажутся младенцами и карликами и напоминают об индийском изречении: «По своим делам рождаются люди – немыми, глухими, глупыми и безобразными». Эти отцы заслуживали такого потомства своими «делами», как говорит изречение. Поэтому нет никакого сомнения, что учащаяся молодежь скоро сумеет обходиться без философии, которая преподается в университетах, и что люди, не причастные к университету, уже теперь обходятся без нее. Вспомните только о своем собственном студенческом времени; я по крайней мере был совешенно равнодушен к университетским философам; они казались мне людьми, которые составляют для себя какую-то мешанину из плодов других наук, а в свободные часы читают газеты и посещают концерты; впрочем, даже их академические сотоварищи относились к ним с любезно замаскированным презрением. Предполагалось, что они мало знают и что у них всегда под рукой затемняющий оборот, чтобы скрыть этот недостаток знания. Поэтому они охотно сосредоточивались на таких туманных местах, в которых не может долго находиться человек с ясным взором. Один возражал против естественных наук: ни одна из них не может мне объяснить простейшего становления, какое же мне дело до них всех? Другой говорил об истории: у кого есть идеи, тому она не дает ничего нового, – словом они всегда находили основания, по которым более соответствует философскому достоинству ничего не знать, чем учиться чему-либо. Если они принимались за учение, то их тайным намерением при этом было убежать от наук и основать темное царство в какой-либо неисследованной и неосвещенной их области. Таким образом они шли впереди наук лишь в том смысле, в каком дичь идет впереди преследующих ее охотников. В последнее время они забавляются утверждением, что они, собственно, суть лишь пограничная стража и надзиратели наук; здесь они пользуются главным образом учением Канта; из последнего они стремятся сделать ленивый скептицизм, о котором скоро никто не будет беспокоиться. Лишь изредка кое-кто из них подымается на высоту маленькой метафизики, с

обычными последствиями в виде головокружения, головной боли и кровотечения из носа. После того, как им столь часто не удавалось это путешествие в туманы и облака, после того, как какой-либо грубый и твердоголовый питомец истинных наук не раз хватал их за косу и стягивал назад, их лицо приобретает постоянное выражение жеманства и раскаяния во лжи. Они совершенно потеряли радостное доверие к философии, так что никто из них не сделает и шагу в жизни в угоду своей философии. Некогда иные из них мечтали открыть новые религии или заменить старые религии своими системами; теперь у них исчезла такая самонадеянность, они по большей части благочестивые, робкие и туманные люди; никогда они не бывают храбры, подобно Лукрецию, не чувствуют ненависти к бремени, которое лежало на людях. И логическому мышлению у них нельзя более научиться; обычные прежде упражнения в диспутах они прекратили, исходя из естественной оценки своих сил. Несомненно, в настоящее время представители специальных наук логичнее, осторожнее, скромнее, изобретательнее – словом, ведут себя более философски, чем так называемые философы: так что каждый согласится с беспристрастным англичанином Бэджготом, когда он говорит о нынешних строителях систем: «Кто не убежден заранее, что их посылки содержат удивительное смешение истины и заблуждения и что поэтому не стоит труда размышлять об их выводах? Готовое и законченное в этих системах, быть может, привлекает юношей и производит впечатление на неопытных, но развитые люди не дают себя ослепить этим. Они всегда готовы благоприятно принять намеки и предложения, и даже самая незначительная истина им любезна, – но большая книга, наполненная дедуктивной философией, возбуждает в них подозрения. Бесчисленные недоказанные отвлеченные принципы спешно собраны сангвиническими людьми и тщательно растянуты в книгах и теориях, чтобы объяснить с помощью их весь мир. Но мир не заботится об этих абстракциях, и это неудивительно, ибо они противоречат друг другу». Если некогда философы, в особенности в Германии, были погружены в столь глубокое размышление, что им грозила постоянная опасность удариться головой о каждое бревно, то теперь, как Свифт передает это о лапутийцах, к ним приставлена целая толпа трещетников, которые при случае наносят им легкий удар по глазам или еще куда-нибудь. Эти удары бывают иногда слишком сильными, и тогда отрешенные от земли философы забываются и сами ударяют – что всегда кончается их посрамлением. Не видишь ты бревна, что ли, тупая башка! говорит тогда трещетник, – и действительно философ часто видит бревно и

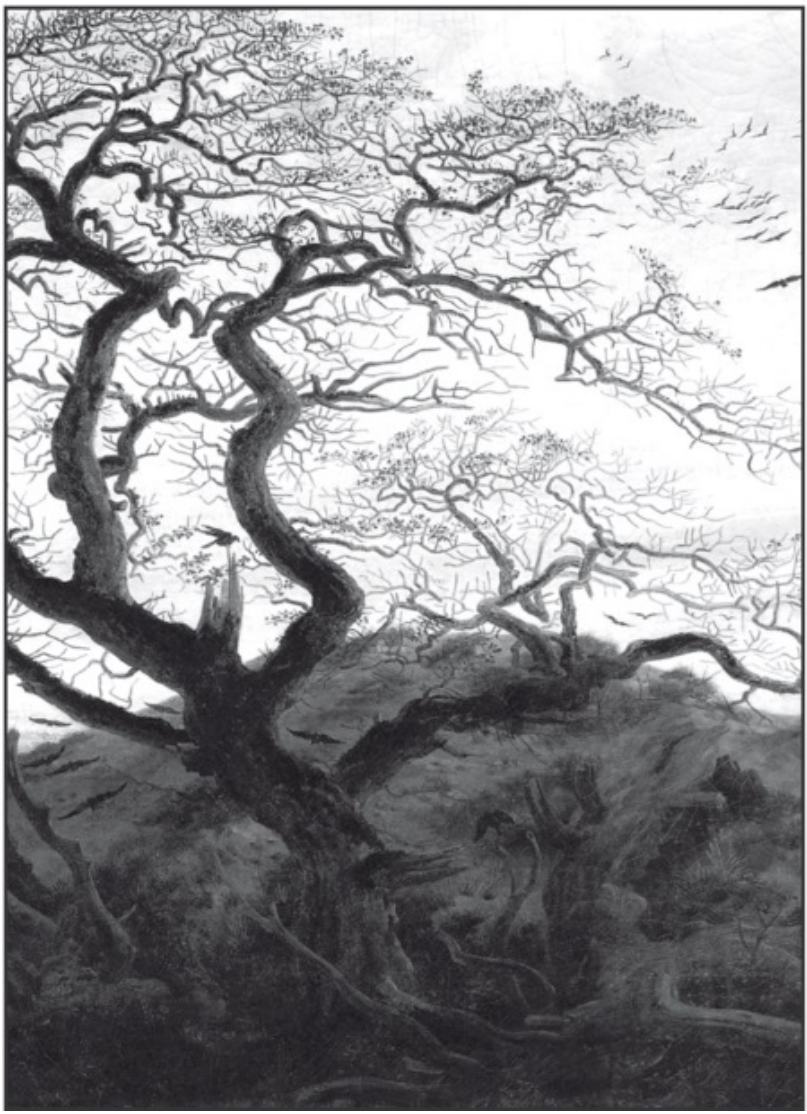
становится снова покорным. Эти трешетники суть естественные науки и история; постепенно они так укротили это царство грез и умозрения в Германии, которое долгое время выдавалось за философию, что упомянутые господа умозрения были бы охотно готовы прекратить попытку идти самостоятельно; но когда они неожиданно бросаются в объятия наук или хотят прицепиться к ним, чтобы идти у них на поводу, то последние начинают тотчас же трещать как можно страшнее, – как будто хотят сказать: «Этого только недоставало, чтобы такой умозрительный господин портил нам естественные науки или историю! Долой его!» И они опять возвращаются назад, к собственной непрочности и беспомощности; им непременно нужно иметь под руками немножко естествознания, например, в виде эмпирической психологии, как у гербартианцев, а также немножко истории – тогда они по крайней мере могут официально изображать из себя людей, занимающихся наукой, хотя в душе они посылают к черту всякую философию и всякую науку.

Но признаем, что эта толпа плохих философов смехотворна – и кто же не признает этого? – спрашивается, в какой мере она также вредна? Я отвечаю коротко: она вредна, – тем, что делает философию смехотворной. Пока будет существовать эта признанная государством карикатура на мышление, всякое великое действие истинной философии будет уничножаться или по крайней мере задерживаться, и притом именно этим проклятием смешного, которое навлекли на себя представители великого дела, но которое переносится и на само дело. Поэтому я считаю содействием культуре, если философия будет лишена всякой государственной и академической санкции и если государство и университет вообще будут освобождены от непосильной для них задачи различать между истинной и мнимой философией. Оставьте философов расти в диком виде, лишите их всякой надежды на получение мест и включение в гражданские профессии, перестаньте щекотать их жалованьем, более того – преследуйте их, будьте к ним немилостивыми – и вы увидите чудеса! Тогда они разбегутся во все стороны и будут всюду искать себе кровли, эти бедные мнимые мыслители; для них откроется то место пастора, то должность школького учителя; иной запрячется в редакцию газеты, другой начнет писать учебники для женских гимназий; разумнейший из них возьмется за плуг, а самый тщеславный пойдет ко двору. Внезапно все разлетится, и гнездо опустеет, ибо нет ничего легче, чем освободиться от плохих философов – стоит только перестать покровительствовать им. И это во всяком случае целесообразнее, чем официальное государственное покровительство какой-либо

философии, какова бы она ни была.

Государству вовсе не важна истина вообще, а исключительно лишь полезная ему истина или, говоря еще точнее, лишь все, что ему полезно, будь то истина, полуистина или ложь. Союз между государством и философией имеет, следовательно, смысл лишь в том случае, если философия может обещать быть всегда полезной государству, т. е. ставит государственную пользу выше, чем истину. Правда, для государства было бы великолепно иметь и истину в услужении и на жалованье у себя; но только оно само хорошо знает, что к природе истины принадлежит не оказывать никаких услуг и не состоять ни на чьем жалованье. Поэтому в том, что оно имеет, оно имеет лишь ложную «истину», существо с личиной; а последнее, к сожалению, не может дать ему того, чего оно так жаждет от подлинной истины – именно его собственного оправдания и освящения. Когда средневековый властитель хотел, чтобы его короновал папа, но не мог от него добиться этого, он избирал себе другого папу, который и оказывал ему эту услугу. Это до некоторой степени еще удавалось; но современному государству нет удачи, когда оно назначает свою собственную философию, чтобы быть легитимированным ею; ибо оно по-прежнему имеет против себя философию, и притом еще более, чем раньше. Я думаю совершенно серьезно: для него полезнее совсем не заниматься ею, ничего не искать у нее и, насколько возможно, игнорировать ее, как нечто безразличное. Если этот нейтралитет не удержится, если она станет опасной и угрожающей ему, то пусть оно ее преследует. Так как государство интересуется университетом лишь в том отношении, что может с его помощью воспитывать преданных и полезных граждан, то оно должно было бы поколебаться подвергать опасности эту преданность и пользу, требуя от молодых людей экзамена по философии; правда, сделать из философии экзаменное пугало может быть в отношении ленивых и неспособных голов верным средством вообще отпугнуть их от ее изучения; но эта выгода не возместит ущерба, который может получиться от этого же насильственного изучения философии дерзновенными и беспокойными юношами: они знакомятся с запрещенными книгами, начинают критиковать своих учителей и наконец даже подмечают цель университетской философии и этих экзаменов, – не говоря уже о тех сомнениях, которые при таких условиях могут напасть на молодых богословов и в результате которых богословы начинают вымирать в Германии, как каменные бараны в Тироли. Я, конечно, знаю, что государство могло возразить против всего этого размышления, пока еще на всех полях росло прекрасное зеленое гегельянство; но после того как эта жатва была побита

градом и не исполнилось ни одного из возлагавшихся на нее ожиданий, все житницы остались пустыми – тут уж лучше ничего не возражать, а просто отвернуться от философии. Теперь государственное могущество уже достигнуто; тогда, во времена Гегеля, его стремились до-стигнуть – в этом большая разница. Государство не нуждается более в санкции философии, и потому она стала излишней для него. Если оно перестанет содержать ее профессуры или, как я предвижу это для ближайшего времени, будет содержать их лишь небрежно и напоказ, то это принесет ему пользу; но мне представляется более важным, чтобы и университет усмотрел в этом выгоду для себя. По крайней мере мне думается, что приют истинной науки должен считать благоприятным для себя обстоятельством возможность освободиться от общения с полунаукой и четвертьнаукой. Кроме того, с репутацией университетов дело обстоит слишком неблагополучно, чтобы не было надобности принципиально желать исключения дисциплин, которые низко ценятся самими академическими деятелями. Ибо стоящие вне университета люди имеют серьезные основания вообще пренебрежительно относиться к университетам: они упрекают их в трусости, в том, что маленькие из них боятся больших, а большие – общественного мнения; что во всех вопросах высшей культуры они не идут впереди, а медленно и поздно ковыляют сзади; что подлинный дух некоторых выдающихся наук совсем не соблюдается в них. Так, например, лингвистика изучается усерднее, чем когда-либо, но для себя самих считают ненужной строгую школу письма и речи. Индийская древность открывает свои ворота, а знатоки ее имеют вряд ли иное отношение к самым непреходящим творениям индусов, к их философским творениям, чем зверь – к лире; хотя уже Шопенгауэр считает знакомство с индийской философией одним из величайших преимуществ нашего века перед прежними. Классическая древность уже перестала отличаться от всякой иной древности и не влияет более, как нечто классическое и образцовое, – как это показывают ее питомцы, которые уже наверно не суть образцовые люди.



Куда девался дух Фридриха-Августа Вольфа, о котором Франц Пассов мог сказать, что он кажется ему истинно патриотическим, истинно гуманным духом, достаточно сильным, чтобы зажечь и привести в брожение целую часть света, – куда девался этот дух? В противоположность этому, в университеты все более вторгается журнализм, и нередко под именем философии; гадкая, прикрашенная манера чтения, Фауст и Натан мудрый всегда на устах, речь и взгляды наших противных литературных газет, в последнее время еще болтовня о нашей

святой немецкой музыке, даже требование кафедр для Шиллера и Гёте – все эти признаки говорят о том, что университетский дух начинает смешивать себя с духом времени. И тут мне кажется в высшей степени важным, чтобы вне университетов возник более высокий трибунал, который наблюдал бы и за университетами и оценивал бы то образование, которое дают эти учреждения; и как только философия выделится из университетов и тем очистится от всяких недостойных соображений и затемнений, она неизбежно станет таким трибуналом; без государственной власти, без жалованья и почестей, она сумеет исполнять свое дело, освобожденная и от духа времени, и от страха перед ним, – словом, живя наподобие Шопенгауэра, как судья окружающей ее так называемой культуры. Таким способом философ может принести пользу и университету, не сливаясь с ним, а наоборот, созерцая его из некоторого достойного отдаления.

Но в конце концов: что значит существование государства, польза университетов, когда ведь дело идет прежде всего о существовании философии на земле или – чтобы не оставить ни малейшего сомнения в том, что я разумею, – когда бесконечно важнее, чтобы на свете возник философ, чем чтобы продолжали существовать какое-либо государство или университет! По мере того как увеличивается рабство перед общественным мнением и опасность для свободы, достоинство философии может возрасти; оно стояло выше всего среди катастроф погибавшей римской республики и во времена империи, когда ее имя, как и имя истории, стали *ingrata principibus nomina*. Брут больше свидетельствует о ее достоинствах, чем Платон; это – эпохи, в которых этика перестает иметь общие места. Если философия теперь мало почитается, то нужно задать себе вопрос, почему ее не исповедует теперь ни один великий полководец и государственный деятель? Конечно, лишь потому, что в ту пору, когда он искал ее, он встречался под именем философии с бессильным фантомом – с ученой мудростью и осторожностью, проповедуемой с кафедр, – словом, потому, что философия давно уже успела стать смешным делом. Однако она должна была бы быть страшным делом; и люди, которые призваны искать могущества, должны были бы знать, какой источник героизма течет в ней. Пусть скажет им американец, какое значение имеет великий мыслитель, приходящий на эту землю, в качестве нового средоточия огромных сил. «Смотрите, что бывает, – говорит Эмерсон, – когда великий Бог посылает на нашу планету мыслителя. Тогда все в опасности, как когда пожар охватывает большой город и никто не знает, прочно ли еще что-нибудь и чем все это кончится. Тогда нет ничего в науке, чего нельзя было бы

завтра поставить вверх дном, и ничего не значат более ни литературные репутации, ни так называемые вечные знаменитости; все вещи, которые в настоящую минуту дороги и ценны людям, обязаны своим значением лишь идеям, поднявшимся над их духовным горизонтом и обусловливающим современный порядок вещей так же, как плоды определены деревом. Новый уровень культуры мгновенно внес бы переворот во всю систему человеческих стремлений». Да, если подобные мыслители опасны, то, конечно, ясно, почему наши академические мыслители неопасны; ибо их мысли растут так мирно в привычном строе, как плод растет на дереве; они не пугают, не выбрасывают из колеи; и о всех их мыслях и мечтах можно было бы сказать то, что имел возразить Диоген, когда при нем хвалили некоего философа: «Чем же он может гордиться, если он так давно занимается философией и еще никого не огорчил». Да, так должна была бы гласить надгробная надпись университетской философии: «она никого не огорчила». Но это, конечно, скорее похвала старой женщине, чем богини мудрости, и неудивительно, если те, кто знает эту богиню лишь в образе старой женщины, сами весьма мало походят на мужчин и потому вполне по своим заслугам уже не обращают на себя внимания людей силы.

Но если дело обстоит так в наше время, то достоинство философии повергнуто в прах; кажется, что она сама стала чем-то смешным или безразличным; поэтому все истинные ее друзья обязаны свидетельствовать против этого смешения и по меньшей мере показать, что смешны или безразличны лишь ложные служители и недостойные сановники философии. Еще лучше, если они сами покажут на деле, что любовь к истине есть нечто страшное и могучее.

То и другое доказал Шопенгауэр – и будет со дня на день доказывать все яснее.